

Василий Аксёнов

ВРЕМЯ НОЛЬ



ЛИМБУС ПРЕСС
Санкт-Петербург
Москва

ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ АНДРЕЯ БЕЛОГО

Василий Аксёнов
Время ноль (сборник)

«Издательство К.Тублина»

2010

Аксёнов В. И.

Время ноль (сборник) / В. И. Аксёнов — «Издательство
К.Тублина», 2010

ISBN 978-5-8370-0617-3

Главный герой возвращается со своей малой родины в Петербург, останавливаясь в одном из сибирских городов для встречи с друзьями. В немногословности сюжета – глубина повествования, в диалогах – характеры, в историях – жизнь и смерть. Проза В. Аксёнова, словно Вселенная, затягивающая своей непостижимой бездной, погружает в тайны души человеческой. Время здесь, образуя многомерность художественного пространства, сгущается, уплотняется и будто останавливается в вечности, линиями прошлого, настоящего и будущего образуя точку схода. Сохранены особенности орфографии и пунктуации автора.

ISBN 978-5-8370-0617-3

© Аксёнов В. И., 2010

© Издательство К.Тублина, 2010

Содержание

Время ноль	6
Конец ознакомительного фрагмента.	54

Василий Аксёнов

Время ноль (сборник)

© В. Аксёнов, 2010

© ООО «Издательство К. Тублина», 2010

Время ноль

Потому что странники мы пред Тобою и пришельцы, как и все отцы наши; как тень дни наши на земле, и нет ничего прочного.

Псалмопевец

Время – это птица, которая украшает тебя разноцветными перьями, но которая прилетит забрать своё.

Святитель Николай Сербский

Время похищает всё человеческое и этим налагает на нас долг взаимно похищать у него нечто полезное для жизни вечной.

Викентий Лиринский

Настас-ся Абросимовна.

Это – если по Святцам, буква в букву, конечно же – Анастасия Амвросиевна. Моя бабушка по матери. Урождённая Вторых, в *бабах* Русакова. Вот и прабабушка моя по той же линии в синодик вписана под именем Синклитикия, а при жизни называлась Секлетиньей. И обычно. Сплошь да рядом. Будто одно имя, вариант ли его, словно справка, вместо паспорта, чтобы зря тот не трепался и не изнашивался, упрощённое в угоду языку и укороченное для удобства, назначено для повседневности, а другое, полное, – для вечности. Крестили младенца, с полученным свидетельством для обихода уносили его домой, а выданный ему из рук незримого Святого документ оставляли на хранение до нужного момента в церкви, при отпевании и возвращали. Как будто так вот. Умерла она, Настасья Абросимовна, в сорок один год, *оцинжав*, в только что основанном на *пустоплесье* ими, сорванными насильно с обжитых и родных мест елисейскими крестьянами и казаками, портовом городке Игарка, за Северным полярным кругом, на переселении, далеко от своего и отчего дома, задолго, лет за двадцать, до моего появления на свет. Господи, упокой... даруй ей Царствие Небесное. Хочу написать про неё. Давно собираюсь. Всё настоятельнее с возрастом это желание – теребит душу, сердце шемит. Хоть и мало что о ней, о бабушке своей, знаю. Почти ничего. Только то, что рассказывали, вспоминая и всегда спокойно, размеренно, с удивительным достоинством и уважением друг к другу беседуя между собой, мои родные тёти, дяди и моя мать – её дети, которых было у неё, у Настасьи Абросимовны, одиннадцать. Средней, по возрасту, из них, моей матери – пятеро до неё, пятеро после народилось – сейчас уже без года девяносто. В живых на этот час осталось только трое. И хоть о каждом из одиннадцати пиши по книге: что ни судьба, то... эпопея. Но всё записано у Бога, чем себя и урезоню, заодно, конечно, и утешу. Буквы у Него – звёзды. Глаголы – созвездия. Мысли – галактики. Метеориты и кометы – йоты, знаки препинания. Вселенная – Книга. Почерк вот только нам, неусердным, кажется неразборчивым. Но при старании, усердный, разгадаешь.

Отец Настасьи Абросимовны – и мой, значит, прадедушка – Абросим Иванович Вторых перед отправлением в бесконечное путешествие метрику с верно прописанным в ней именем Амвросий получил на руки вот при каком раскладе дела.

В двадцать седьмом году – *ещё до высылки; до самых мытарств-издевательств, слава Богу, не дожил, такое лихо не увидел, с неба уж разве что сочувствовал смиренно; и как раз на Рождество Пресвятой Богородицы* – произошло это. Подался он, Абросим Иванович, в лес, *запустить* слопцы – на глухаря их настораживал, – чтобы собаки в них, свои, чужие ли, не угодили, а перед этим завернул к дочери своей *Настасе*, тогда уже замужней и жившей от родителей отдельно, *своим домом-хозяйством*, – и без всякого заделья, вроде как просто, без причины, брёл, мол, мимо и забрёл. С краю стола погостевал, на кромке лавки – *вёл себя*

всё, отшельник бытто. Поговорил не о значительном. Празнишного, канунного ни крошки не отведал, даже и пирога не пошмыгал. Чаю морковного попил, пустого: дёсна лишь им пополоскал, погрел жалуюток. Да и откланялся. Зашёл в лес. Сел на колоду. Побыл на ней сколько-то, не сходя с неё, и помер. После нашли его, хватились, уже отлелевшего. На самом деле – умер – не очнулся: разделил вечность на до и после – как разрезал – в разрез все только-то и повздыхали: мир, мол, праху, а душе покой – конечно. Отжил Абросимом, Амвросием восстановился. Или Там имя-то... Ну ведь не номер же... Не знаю. Ладно, что церковь в селе ещё стояла – после уже разрушат активисты неумные, – и отпели, как полагается, и имя полное вручили, как следует, отбыл.

Сто сорок пять медведей, *крестьянствуя при этом добросовестно*, от забот по хозяйству для охоты не отвлекаясь надолго, успевая в том и в этом, *завалил* Абросим Иванович за свою жизнь. По-разному. Одних пулей, картечью ли сразил, других в петли уловил или в капканы, завлёл ли в ямы зверовые; при встрече чаянной или нежданной – пути где, мало ли, пересеклись, в глухой тайге-то; на пасеке, незванно и разбойно мёдом полакомиться туда заявившегося, на овсах, на падали ли скараулил; а то и так, в берлоге прямо запер. И вообразить трудно. Не зайцев всё же и не белок. Много – сто сорок пять – не в счётах косточки перемахнуть. Да и противник-то такой: *зазеваешься маленько, оробеешь-засуетишься*, и голову тебе оторвёт, как цыплёнку, и шею сломит, что соломину. А сороковой, *пест, стервеник*, его самого, на тот момент – и не один раз при мне рассказывали, но запомнил я, почему и при каких обстоятельствах, ну а придумывать не стану – *как на притчу*, безоружного, *чуть было не замаял*: жеребец чей-то, *к счастью его, охотника-то*, рядом пассив, охраняя свой табун, так отогнал косолапого. Сходил Абросим Иванович за ружьём в зимовьюшку, спустил собак с привязи, настиг с ними зверя по следу и тогда уж с ним расправился – чтобы ни на кого уж больше не накинусь, войдя во вкус-то, – где на детей, на женщин ли, на грибников, на ягодников, где на скотину ли – кто попадётся, разъярившемуся. И сейчас мне, измельчавшему, разрыхлённому и источенному, как валенок в чулане молю, чужими мнениями и поветриями, отсюда, из большого города, из квартиры *со всеми удобствами*, на временном и на пространственном отдалении, и медведя вроде жалко – всё же зачат был из человека и пост Рождественский, не шатун-то если, держит, но и деда в пасть ему не стравишь – до этого ещё я не размяк, до уровня правозащитника не возвысился. Что поделаешь, так рассуждаю, если жизнь была тогда в тайге такая: людей в округе меньше было, чем медведей, и отношения между ними были установлены по обоюдному согласию соответственные, без посредников в виде различных моралистов и защитников – кто одолел кого, тот и гуляет себе дальше.

Буду рассказывать, не стану рассуждать – слово тут моё потерпит неудачу, ниже окажется предмета. Всё же вот вспомнилось. Современник моего прадеда, камер-юнкер, оберпрокурор Синода, князь Андрей Александрович Ширинский-Шихматов уложил за свою жизнь двести двенадцать медведей, 212, и нужды особой у него в этом вроде не было – не в Петербурге же, гуляя в парке или на службу следуя в карете, он встречался с ними. Хотя... Бывает всякое, конечно.

И что ещё вот.

В дверях уже, когда от дочери в предсмертный час свой уходил, не оглядываясь – по примете, чтобы *не отказать* себе в *доброй дороге*, – нахлобучивая *заяч-ию* шапку на голову, обронил через плечо Абросим Иванович: «Образ-то на божнице у тебя, Настасья... Спаситель косо чё-то смотрит». – «Да нет, тятя, – ответила ему дочь. – Это изба, а не Спаситель... угол подгнил, осел, и повело чуть». – «Как-то поправить, поди, можно... подложить ли чё, подвинуть... Изба-то пусть... для Господа бочком-то...» – «Ладно, тятя, сёдни же поправим». – «Да уж поправьте... то не дело». Это его последние слова при жизни. Разве что с Богом ещё перемолвился, с ней ли – со смертью. Там, на колоде-то, но кто то слышал.

Детей своих она, Настасья Абросимовна, называла – как они, дети её, вспоминают – так обычно: Вассонька-матушка, Ванюшка-батюшка, Алёна-матушка, ну и наперечёт – трое *батюшек* и восемь *матушек* – обилие такое. Было, конечно. Изводится. Зато потомства-то – не преклось – изрядно, как звёзд на небе, чуть разве меньше.

«Из всех из нас больше всего – и обличьем, и фигурой, и выговором – схожа с мамой наша Нюра... Вылитая... Да и характером. Уж уродилась». Анна Дмитриевна. Плисовская по мужу. Тётя моя, которую все мы, её многочисленные племянники и племянницы, с радостью называем тётя Аня. Сказал: тётя Аня – и на душе посветлело – что-то хорошее как будто сделал. Жива пока, и слава Богу. *В уме ещё* – да и в хорошем – *рассудительная*. Верует. Добрее человека – есть-то они, может, и есть, куда же им и надеяться, есть, конечно, но мне – встречать так близко вот не доводилось; скрыть её трудно, доброту-то, – не денежка, просквозит, хоть и укроешь, как клад, не утаишь. А мне она, тётя Аня, так иногда при встрече говорит, приглядываясь ко мне по старости пристально, в даль туманную будто, – и не глазами уже, кажется, а как-то по-другому: «Шибко уж ты сшибашь, родной, на нашего-то тятеньку, на деда». Куда тут денешься – *сшибаю*.

И всё почти. К стыду своему и печали. Ничего больше про Анастасию Амвросиевну я не знаю. Только то ещё, вдобавок вот, что муж её законный, дед мой, Дмитрий *Истихорыч*, *тятенька*, пришёл как-то утром рано, *по росе*, домой от *полюбомницы*, встретил жену свою *венчаную* Настасью, бабушку мою, в ограде около колодца, вырвал из рук у неё коромысло и *отходил* её им – *за то, что молча обоилась, в укор ему и слова не сказала, как не заметила*, – после этого оглохла бабушка, *хощь колокол церковный об неё разбей* – такой невосприимчивой после побоев к звукам посторонним сделалась, *глухой, как стенка*, сошла и в могилу. Но там, в могиле, тишина, позвоночником да затылком внимать, может, и есть чему – нутру земному, например, – но слушать нечего особенно, а у души свой слух, свои уши, и то, что следует услышать ей, она услышит – так мне думается. От любви необыкновенной и *требовательной* он, Дмитрий *Исти-хорыч*, так поступил, от ненависти ли, обуявшей его и ослепившей вдруг на ту минуту, мне не догадаться. От безразличия бы так не сделал, точно – есть по кому судить здесь – по себе. Что в своём сердце после этого носил он, дедушка, ума не приложу. Но вот детей своих *и пальцем никогда не трогал тятенька, за провинность, для острастки, опояской или верхонкой легонько иногда пониже поясницы шлёпал лишь, а ругался только так: «Ух, ты, огнёва, ох, каналья»* – наши никто не сквернословил, *грязноязыких не водилось*. Правда. И я таких, охальников, среди родственников своих не припомню. Если имелись бы, так не забылись бы – такой контраст-то. *Дедушка Истихор и вовсе не ругался – сдержанный был – и на руку, и на язык*.

Ну и последнее, что мне известно:

Глаза у неё, *у мамы*, были: *когда в избе, в тени, или когда погода пасмурная – как дождевые капли, серые, когда на улице, на солнце где – как небо, голубые, – так изменялись*. А волосы – как *прелая солома, светло-русые, богатые – густые*.

И:

«Тятенька был крутой, горячий, вспыхчивый, как порох, но отходчивый – его надолго не хватало. А мама – спокойная, степенная, голоса никогда ни на кого не повышала, но слушались мы её и повиновались ей беспрекословно».

Ну вот.

Живу сейчас и чувствую (оговорюсь: именно чувствую – не понимаю): люблю я её, бабушку свою по матери, Настасью Абросимовну, хоть никогда её и не видел – даже на фотографии, которые в семье имелись, как рассказывали, но не сохранились: *не до жиру было, быть бы живу, какие уж там фотокарточки, себя бы еле-еле протащить мимо гибели, между смертями, кого родного ли сберечь*, – люблю так. Как и Россию – будто и похоже: ведь и её, Родину свою, толком тоже всю не обозрел, не разузнал и не прослушал – не республика

Сан-Марино, слава Богу, в пятьдесят девять квадратных километров – пешком за сутки можно пересечь, с высокой ёлки всю увидеть, – против которой ничего я не имею, разумеется, и там кто-то, в тесноте такой, родился и живёт, пожалуй только. Как и китайцев. Как и японцев. Мало ли. Иных тоже жалко – где население-то редко. Люблю. Я про Россию. *Любовью странною. Рассудку* с ней, конечно, не управиться, *не победить*. Но только надо ли? Зачем всегда всё побеждать? Чему-то и покориться иногда можно с радостью, поддаться. Любишь и любишь, слава тебе Господи. Без этого-то как? Пусть и скудельные сосуды мы, но ведь не камни. И камни жалко – так страдают: лежи-ка столько на одном боку.

И всех сродников, от веку... И другую мою бабушку, что – по отцу. *Авдотью Николаевну*. С той-то однажды всё же я встречался – ночи две у нас, была проездом, ночевала, – смутно, но припоминаю: крупная, молчаливая, в платке, повязаном по-русски, – сидит на стуле, как на троне фараоновском, прямо, *осанисто*, ладони на коленях, смотрит на меня внимательно, как в будущее или в прошлое, как в объектив ли, – словно для памяти моей сфотографироваться согласилась. Сфотографировалась – нет-нет да и посмотрю на снимок – всматриваюсь. И дедушку моего по отцовской линии, Павла Григорьевича, мужа Авдотьи Николаевны. Старик сухой, плечистый был и строгий – так вот тогда мне показалось, – повелительный, глядел на всех, как коршун с высокой лесины, но не надменно и не зло, а отстранённо – был уже где-то, а не с нами. Того мне тоже довелось раз только в жизни, к сожалению, увидеть, за месяц, за два, может, до его кончины: отец возил меня к нему – *проститься* – с ним, с тем, фамилию которого ношу – Истомин-то. Но здесь:

Созвездие уже другое.

* * *

Синица на окне. С уличной стороны. В оконный переплёт вцепилась коготками – как в сердце. Висела боком, теперь – вниз головой. Ей всё равно, хоть так, хоть эдак, кажется. Как Гераклиту. Стекло старательно поклёвывает. Что-то там её обманывает – привлекло же. Может, отблеск. Может, собственное отражение. Клюв ли, как об оселок, поправляет. Наклевалась. Улетела. Берёза в палисаднике – на ней теперь мельтешит, невеличка, и не одна она там – несколько их, горстка, с ветки на ветку перескакивают, юркие; рано берёза наша нынче – из-за заморозков крепких – оголилась. К дому дорожка жёлтая от листьев; и мураву ими, листьями павшими, распятнало – как веснушками – грустно. Иней на всём лежал, уже растаял, и обсохло, только где тень, там ещё волгло.

– К худому, – говорит мать.

– Что? – спрашиваю, хотя и понимаю, о чём речь.

– Да птица-то... когда в окошко.

– Да уж, – говорю. И думаю: «Ничего в ней синего, и вдруг синица».

– Всё так.

– Но ведь она не ломится, не бьётся.

– И чё что...

– Это, мама, суеверие.

– Не знаю... Господь сильный: тихо знаки подаёт. К кому относится, тот услышит... А суеверие, нет ли, я, не грамотная-то, не знаю... Редко когда в Господа напрямую веришь, всё через чё-то... определи-ка.

– К зиме холодной, может быть... вот и к худому.

– И это тоже.

Бабье лето. Именовал же кто-то. Ведь не назвали же: зима мужицкая. Но пусть. А в декабре да в январе-то – и мужицкая. Отвлёкся.

Ельник вокруг Ялани – густой, вечнозелёный, разрежен кое-где багряным: рябинами, осинами или бояркой – будто поранился, и кровь на нём, на ельнике-то, проступила – осень.

Один – на ветке обнажённой

Трепещет запоздалый лист!.. – то и дело вспыхивает в уме, как зарницы среди тёмной августовской ночи, то пережитое, то прочитанное – от личной памяти до родовой... до общечеловеческой.

Небо голубое. Ни облака на нём. Как океан во время штиля. Только следы от турбореактивных самолётов: один с запада на восток, другой с юга на север. Ветер, видно, в поднебесье – напирает: полчаса ещё назад крест был прямой, ровно вписанный в круг, *нахлебный*, поменялся, смотря, на *андреевский* – цвет вот только наизнанку. Дивишься.

Ночью, конечно, уже холодно – вода в бочке возле дома под поточным желобом к утру замерзает, чтобы достать её ведром или ковшиком, лёд проламывать пешней, топором или колотушкой надо – коростой плотной нарастает; воробью клювом не продолбить, кошке лапой не проломать... вороне разве, с её *инобелем*.

Но днём пока ещё тепло и сухо. Благолепно.

Совсем скоро может занесть, мало того, и снег повалить – Сибирь всё же, и место, хоть и красивое, но не курортное, а – *каторжанское*. Мне-то – как кулику – его болото: чалдон в каком уж поколении, татарин скажет: сибарча – в печь бы не сунул, басурманин.

Вставили мы с матерью вторые, на зиму, рамы – с одинарными-то тут, в резко континентальном климате, не уживёшь, люто, умереть только, дров, чтобы обогреться, никаких не хватит, околеешь. Прежде, конечно: натаскал, надрал, с ближайшей согры бело-розово-зелёный мох в холщовом мешке – три ходки в болотце сделал: окон-то много, дом большой, – мать, раскидав как можно тоньше по ограде и высушив на солнце сначала, уложила после мох этот валиком на подоконники между рамами, украсила его гроздьями рябины, кедровыми шишками и ягодами клюквы и калины.

– Нравится? Красиво? – шаркая старыми, большими ей, *свободными* – ещё отец когда-то их носил, уже ослепший, выходил в них, не заботясь, сухо, сыро ли там, и в ограду, растоптал – домашними кожаными тапочками, отпятилась чуть от окна, остановилась и, щуря заглядываясь мимо меня на сделанное, спросила она.

– Нравится, нравится. Конечно, – протерев до этого скомканной газетой стёкла, устроив и закрепляя теперь в косяке тоненьким деревянным клинышком последнюю раму, ответил я. – Красиво.

– Конечно. Как же не красиво, когда всё тут от природы... не рукотворное, – сказала мать. – Ну вот, осталось лишь заклеить, так-то – готово. Морковь и репу вырву, уж потом. Пока не дует, в щели не сквозит – терпеть можно... Так теперь до будущего лета, – присаживаясь на табуретку, сказала она. – Чуть постояла, и устала... В мае, в конце, в начале ли июня... раньше-то редко когда выставишь... Ох, Го-осподи.

– Да, – сказал я, а подумал: «Да. Но мне-то этим всем не любоваться. Если только – вспоминая».

Что-то похожее и матери подумалось, наверное: отвернулась в сторону и поднесла к лицу конец платка-то – не случайно.

– Глаза который день уж чё-то чешутся, – сказала. – К слезам... к чему ещё.

– Ну, мама.

– Ладно, ладно... дай понуть, то перед кем ещё потом мне... Перед самой собой шибко не покуражишься... как перед ветром. Человек – он чё – уроса, ну а уж женщина – та вовсе, со старой – спросу никакого.

Было это вчера. И вчера уже было не по себе. Было так уже и за неделю. Как вспомнишь, что скоро, сколько ни тани и ни откладывай, уезжать надо будет, так хоть дыши через соломинку.

Ну а сегодня, когда час настал, почти что пробил: Настроение совсем уж отвратительное. Кошки на душе скребут – так это называется – ладно, скребли бы только, но ещё же и покусывают – меленько, подленько – как с мышкой будто, с ней, с душой, играют. Хожу, стараясь явно не смотреть на мать: при взгляде на неё сердце обливается кровью – из бокового зрения её не выпускаю – захотел бы, но не вытеснить – так до следующего приезда пребывать в нём, в зрении периферийном, и останется – как мушка. Зато оба нет-нет да и поглядываем в окно, в которое видна дорога, с боязнью, но откровенно: вот-вот должен, как обещал, подъехать на своём *уазике* Дима Ткаченко, мой школьный приятель, младше на класс меня учившийся, теперь не то председатель, не то директор то ли колхоза, то ли уже чего-то другого, ООО или ОАО, я в них путаюсь, в соседней с Яланью деревне. Церковь, кстати, Дима там построил – так что уже и не в деревне, а в селе, выходит. А Ялань теперь деревня, получается: от церкви в ней остались только стены. Престол-то вечно, если я что тут не путаю, сохраняется, значит – село. Но как-то виртуально.

Мать как, управившись, вернулась в дом, так от окна почти и не отходит – чай когда пили с ней, только тогда и отлучилась, – то на украшенный ею всякой всячиной натуральной мох между рамами глянет, то – в улицу – с тоскою.

«Худо видеть совсем стала. Долго гляжу куда, сливается... Правым-то вовсе никудышно... чем как застило... запотел будто, – сетует иногда. И добавляет: – О-ох. Ста-арость, старость, плохо дело... Вроде и не жила, и вот тебе... старуха... Как к очкам, и к ней, конечно, привыкаешь... к старости-то. К жизни только редко привыкает кто... Ещё пожил бы». Не *пожила бы, а пожил бы*.

Поживи уж.

Я собираюсь. Там и сборы: три книжки, свитер да две рубашки в рюкзак бросил – и собрался. И в быту гардеробом не обременён.

– Может, поесть с собой возмёмшь?.. Вон хошь оладьев. Путь-то не ближний, – говорит мать. – Где там, в дороге, шибко перекусишь?

– Да нет, – говорю. – Есть захочу, куплю что-нибудь... Сейчас на платформах чего только ни продают. Голодным не останусь.

– Дак покупать опять... везде же – деньги... где их на всё-то наберёшься – сами в кармане не растут, как моль, в тряпье не заводятся и не плодятся... Надо ж куда, в такую даль, забрался, – вздыхает горько, продолжительно, будто, представив, попробовала даль эту приблизить мысленно, но не сумела. И говорит: – Жил бы тут где-нибудь... В Исленьске хошь бы... То занесло вон... на край света. Лучше-то тут бы – в Елисейске. А то за миром, в заземелье.

Мотаюсь по дому, как только что пойманный на воле и запертый в клетке ошалевший сразу зверь, сную из угла в угол, от стенки к стенке, половицы подо мной отрывисто лишь поскрипывают – сам от себя убегаю – безуспешно. Раньше отец тут часто точно так же вот расхаживал – тот, поди, так уж только, кости разминая или, озябши, согреваясь, вряд ли по другой какой причине: никогда ни от кого и ни от чего, наверное, не бегал, догонял только, преследовал, по долгу службы, – узнаю в себе его вдруг, вспоминаю. Недавно вроде, а, Царство Небесное, скоро пять лет уже как покойный. «Стоит только умереть, – говорит мать об этом. – У живых и мёртвых время разное: для живых оно то медлит, то торопится, а у мёртвых оно чёрненькое... в земле пока, на Суд-то не подняли... Ох уж и страсти, Господи, помилуй». Умер отец, а для меня, или во мне, вроде родился: в возрасте мужа зрелого, отец, в чём-то иной, чем представлялся мне при жизни, шире, значительней, роднее, – сложно так, с ходу, в этом чувстве разобраться, выносить его в себе, как плод, надо – так и со-бытие: не братец-муравей – отец кровный умер, сначала умер, а потом родился. Отец – который раз уже произношу – сочтёшь разве.

– Чё маешься?.. Присядь. Не натружай ноги. Они тебе ещё понадобятся. Побереги их. Успешь, находишься, – говорит мать, ко мне не оборачиваясь, шумную поступь мою слыша,

ощущая ли её по половицам. – То... как отец – тот по избе-то иной раз... туда-сюда, туда-сюда... как в чём с болячкой, с шилом ли. Скажу когда, да ты, мол, сядь, Коля, угомонись – пол подо мной, как плот на речке, зыбится. Куда там, будто и не слышит Коля – мечется. – Руки у матери за спиной, на поясице сцеплены негибко. Стоит, не шевелится – как вмерзла – в жизнь так вмерзает всё живое. Вся в глубине улицы вниманием – обзор из дома нашего отменный – на все стороны света: и сам он, дом, высокий, и венчает ещё взлобок. И минутой, может, позже: – Вон не Дима ли твой едет?.. К нам сюда какая-то машина. Его, похоже... с белым верхом... так на солнце ли, не различу, бликует, – севшим вдруг голосом говорит мать, разъединив руки, будто только-только что вот вытаяла, и заслоня ладонью глаза от быющего в них света.

Глянул и я в окно, остановившись возле, поверх материной головы, повязанной коричневым шерстяным платком, с прицепившимися к нему где-то мелкими семенами повелицы и пахнущим сеном, – туда, в вязкую перспективу улицы.

– Да, он, – говорю. И у меня с голосом, чувствую, не всё вроде в порядке – разом, как с пару, будто простудился.

– Заходить-то будет, нет ли... Сразу ли поедете? – спрашивает мать, глядя на меня, как на умирающего. – То, может, чаю бы попили. Оладьев столько вон настряпала. Кому теперь их?.. Одной – не съесть. Соседей только угостить, или на днях заглянет кто ко мне тут, дак попотчевать... пока, лежат, не зачерствели-то. Скормить кошкам – не дело... и без оладьев сытые – лоснятся. И корове не дашь – из белой муки – жалко.

– Да он торопится обычно, – отвечаю я, надевая куртку и подхватывая с полу рюкзак, глядя при этом куда угодно, только не на мать. – По делам да по начальству ему надо.

– Ну, тогда ладно, – говорит она, вздыхая тяжело и покорно. – Время не конь, в стойло не определишь, и в отдыхе не нуждается... Всё взял, подумай, не забыл чё?

– Всё вроде, – говорю и мысленно корю себя при этом за своё малодушие, за бессилие перед собственным же характером, будь он неладен, или сибирским жизненным укладом, его, характер мой, сформировавшим и по сей день на него ещё влияющим, но ничего поделать с этим не могу и не умею: в сердце кипит, бурлит, творится, как в пылающей печи, но внешне не решусь и не отважусь на проявление сыновних чувств и на добрые, утешительные слова для матери – да и поможешь ли словами? – стыдимся мы, чалдоны, почему-то этих сантиментов, с живыми менее раскованные, чем с покойниками – тех-то и в лоб целуем, не стесняемся, и говорим, прощаясь с ними, то, что при их жизни, скупясь, обычно не высказываем, – как из вулкана прорывается, – а на поминках, так особенно – до слёз дело доходит. Не знаю, отчего это у нас, на что свалить, ума не приложу. Или от климата сурового, или от неизбывного язычества? Не я один, здесь почти все такие, в этом смысле, неуклюжие. И долгое пребывание в другом месте, в городе большом, с иным укладом, не исправило меня, не научило. – Нечего забывать. С чем прибыл, с тем и отбываю.

– Ты стой на меня, – говорит мать. – И у тебя ни денег, ни богатства никогда не будет.

– Почему? – спрашиваю.

– Да кто ж это знает, – отвечает. – По воле Божьей... Не всем даются почему-то... И он, отец ваш, был такой же – и к тому они, деньги-то, не льнули, как ржа к олову – не приставали. Весь скарб, добро, что мы с ним нажили, в кошёлке можно унести, не надорваться. Переезжать – легко, а жить... всё и нужда, всё недостаток. Сам помнишь. Дом вот, и тот вон, выстроили, за беду – одной-то мне в такой хороmine... Подвезло же так под старость... Как мышь, хозяйствую, в пустом анбаре.

– Ну... мама.

– Господи, помилуй... Это я так, чтобы душа не вылетела, жалобой ей выход заслоняю... Скорбь меня пытается, старую, устоять трудно... Тот уж, отец-то ваш, и вовсе был... От своего отдаст и не заплачет, с чужа и щепки малой не присвоит. Как на столбу стоял – жизнь-то прожил – с него всё лишнее сметало будто ветром... Не заблестел только. Хоть и тростил всё: в Бога,

мол, не верю... если и есть, то, дескать, не про нашу честь. Это он так, война его смутила... Неверующих-то вовсе – таких нету. И бесы веруют, как говорится, да трепещут. Человек не трепещет – своенравен.

– Да-а... Ну не будет, и не будет.

– Это по роду – как наследство.

– Может.

– Хоть бы костюм себе когда-нибудь справил. Всё как мальчишка... и щеголяшь вон... как деолог.

– *Имея пропитание и одежду, будем довольны тем.*

– Так бы оно... да ведь неугомонны, всё нам мало. А и куда, на самом деле... гол пришёл, гол и уйдёшь.

Съехав с дороги, узик ловко развернулся на поляне, спятился аккуратно к дому задом и, попыхивая серо-голубым дымком из мелко трясущейся выхлопной трубы, остановился.

Вышли мы с матерью из дома. Я впереди, она следом. В ограду сначала, потом на улицу. Тепло. В этом году последнее, быть может, – догревает. И так долго и милосердно нынче балует – не по-сибирски. Иной год к этой поре уже и Кемь встанет, а местная детвора по ней уже гоняет самодельными клюшками самодельную же шайбу или катается на лыжах, на коньках и санках, и скотину никуда уже никто не выпускает, стоит та по крытым дворам и открытым завозням скучная, пережёвывая сено, поглядывает с завистью на весело и вольно бегающих по улице собак и ребятишек, – бывало. Помню. Скоро, не за горами, с *низовки*, с Севера, потянет стужей – всё вокруг выморозит до хрустального звона, то и до смерти, если не укроет землю спасительный снег вовремя – к Покрову. Воздух напитан запахом хвои и дыма, ласковый, бездвижен: пакля в скворечнике из паза выбилась – как будто хвост бурундук, забравшийся туда, свесил, – не колыхнётся. Солнце от лиственниц и сосен, что на Камне, густо порос которыми он, будто вспенился, высоко уже оторвалось, гораздо рассиялось – во всё небо, во всю ширь, до окоёма – сплошное, кажется, – глаза не увернуть – заплёскивается – как в промоины.

Стоим, плотно шурясь, возле настежь распахнутых ворот, чуть в сторонке от устеленной опавшими с берёзы листьями дорожки, мураву подминаем – сойдём с неё, выправится – терпеливо к этому относится – или привыкла, или любит. Везде – зелёная, на дорожке – бурая. Дождя давненько уже не было, перебивалась она, мурава, неприхотливая, росой да инеем растаявшим, так исхудала, побледнела – скоро под снегом отойдёт, *ощухается*. Две коричневые равнодушные курицы – выбрали за нами из ограды – вяло, но непрерывно, как заведённые, выщипывают из муравы что-то – семена или букариц. *Голландки*. «Хорошо несутся, – говорит про них мать. – Не ленятся. День только отдохнут, в неделю-то, и снова... Усердные. Было бы чем ещё кормить их, но, то чё попало, ходят, собирают, как из гвоздя потом и дришшут. Зерна нынче не шибко-то где достанешь... Сеют мало, а убирают и того меньше... Во всём упадок-то, и в этом... Время близится. Избавь, Господи».

Синички уже покинули берёзу – перепорхнули разом всей ватажкой, будто стоворились, – теперь поленницу листвяжных дров облюбовали, в щели между поленьями с одной стороны её, поленницы, ныряют, с другой выныривают, и обратно – может, охотятся за кем-то, за жуками-пауками, может – праздно: и им от Бога игры предусмотрены.

– Зима скоро, – с печалью в голосе говорит мать. – Синички появились... Как доживать-то, Господи, как доживать-то.

Столб лиственничный – без калитки и без прясел – в начале августа ещё, сено поставив, палисадник взялся делать я – мать в нём калину посадить надумала, – но не закончил – рыбалкой увлёкся, до следующего приезда отложил, пообещав матери: дострою, дескать; загадал, что называется. Тень от него, от столба, длинная, узкая – грузно упала, придавив траву и на поленнице переломившись, – устояла, не свалилась от неё поленница. Особо выделились в полосе тени опилки рыжие – только вчера пилил скопившийся за годы возле дома, в огороде

и в ограде разный хлам, не ради дров, а чтобы не валялся, дрова из этого гнилья, как говорит мать, никудышные, оно и верно, – листья, обёртка от конфеты, проходил кто-то, бросил, спичка горелая и щепки – всё бездвижно – смотришь, и через щель во времени заглядываешь будто в вечность – так, мельком-мельком, показалось. Пересекает, вижу, эту *щель*, или прогал, долгоногий мизгирь – тотчас навёл пробегом своим ясность, было осуществившийся обман развеял: всё скоротечно – так оно спокойней.

Рюкзак у меня за спиной – двумя лямками на одном плече – ничего почти не весит, но вдруг – как бремя. Об этом будто бы и думаю. И думаю:

Вот Я повелеваю тебе... – к чему бы?.. Понимаю: чтоб не думать... *Вот Я...*

Вышел и Дима из машины. Неспешно. Никуда и никогда не торопится. В душе разве. Внешне всегда размеренно-спокойный. Степенный, как говорят здесь. В детстве, в школе, был *маленько пошустрее*. Но не *межкот-ный*. Крупный, *под метру-девятьюсто, в теле*, но не рыхлый, а *сбитый*, как свинцовое грузило, – машина, от него освободившись, приподнялась резво и рессорами вздохнула облегчённо – всю дорогу этого ждала как будто – похоже. С брюшком – упруго нависает над ремнём-то, спереди и ремня из-под него не видно. «Дима вон не то, что ты, – говорит мать, когда видит нас вместе. – Не чета тебе. Справный. Ест потому что не на бегу, а за столом всегда, солощый, с аппетитом». А я, как волк, мол, в клящие морозы. Хотя и про меня сказать худой – неправда, материнское преувеличение, преуменьшение ли. «Положено, – весело шутит над собой по этому поводу Дима. – Пусть и маленький, но начальник: без живота не солидно. Не возьмут в свою компанию... бугры-то. Соответствую, стараюсь». Тут же колесо правое переднее попинал, ногой же и помял его ещё зачем-то после – шофёр заправский да и только, – и чем оно ему не приглянулось, колесо как колесо, ничем вроде от других не отличается, попинал бы уж тогда и остальные. Из-под левого дворника набившиеся под него стебли и листья, слепленные в ком не засохшей ещё грязью, вынул и на капот положил – постеснялся возле дома мусорить, наверное. Всё равно ж, поедем когда, свалится. На нас теперь из-за машины смотрит. Улыбается. Гладко выбрит – со скоблёным рылом – так сказали бы здешние кержаки. Золотым зубом сверкает – как зайчиком зеркальным дразнится – начистил. В сером костюме и в рубашке белой, но без галстука. «Не люблю, – говорит. – Форма... Когда уж требуется, нацепляю. А при себе всегда, в кармане – принадлежность. Куда заедешь, занесёт, не знаешь, мало ли... Погладил только об колено – и нацепляй... Уже петлём, завязанный обычно. Сам не умею узел этот делать. Танька заведует, жена». Пиджак распахнут. Застегнуть его не сможет – на животе не сойдётся – засвидетельствовано.

– Здравствуй, тётка Елена, – говорит Дима.

– Здравствуй, здравствуй, – отвечает ему *тётка Елена*, а у самой, знаю, подбородок смялся – им только, подбородком, без слёз плачет – слёзы там остались, в прошлом – *чтобы повзрослеть скорее – без мамы-то остались – молодость свою ими поливала*. Смотрю-то я не на неё – на Диму.

– Здорово, – говорит он мне и, вытирая руки ветошкой, показывается из-за машины полностью. Обошёл её, встал перед открытой дверцей.

– Привет, – говорю. – Смотри-ка ты, не опоздал.

– Как договаривались. Обижаешь, – говорит Дима. Вытер руки, бросил тряпку на сиденье.

– Редкий случай, когда так-то.

– Ну, конечно. Больше наговаривай, Олег Николаевич.

У соседей наших картошка ещё не выкопана – загуляли, который уже день не видно их, но зато слышно: нет-нет да и запоют в любое время суток, одну строчку из песни, куплет ли один исполнят и утихнут утомлённо – не то уснут вдруг, не то задумаются. По огороду у них, на той половине, где в добром духе ими начата была работа, среди выдернутой, но не собранной в кучи ботвы разбросаны вёдра, цинковые и эмалированные, копачи и вилы – лежат, торчат,

тоскливые без дела. Картошку сразу в погреб, наверное, ссыпали, не сушили – на поле её не видно; тут же ли кому её продали, *выручились* – так, наверное, коли гуляют. Приезжие – таких тут много – не чалдоны, не сибиряки. Перекати-поле, называет их мать, и до Ялани-то где только уж ни жили, мол, долго и тут, пожалуй, не задержатся – *на тот свет, в другу деревню у берутся ли* – где-то оно всегда ведь сладче. Пусть хоть такие, говорит мать, без них бы вовсе, мол... живые всё же. Души. Не пьют-то когда, дескать, – нечего и не на что, – так и проводят иной раз – то за хлебом забегут, а то за спичками, и слава Богу.

Слава Богу.

Вот и сейчас сипло, громко, но вразнобой они, соседи, из своей избы кому-то сообщили на два голоса – мужской и женский:

– Напилася я пьяной, не дойду я до дому!..

Возвестили и умолкли.

Мы привыкли. Дима усмехнулся – первый раз слышит.

Черёмуха у них, у соседей, в палисаднике с завалившимся штакетником. Старая. Разросшаяся. Не так, как наша берёза, но уже тоже проредела. В листьях когда она, не видно за ней дома – как в маскировочном халате – мимо пройдёшь, не распознаешь. И в ней, в черёмухе, с гроздьями чёрной ягоды, птички серые маячат. Не дрозды. Мельче. Тоже не местные – какие-то пролётом. Дрозды Ялань уже покинули – на юг отбыли; в лесу ли табунятся.

– Во, кому хорошо, – говорит мать про соседей, даже она их слышит, хоть и давно уж крепнет на ухо, так возгласили. – Как птицы. Красота. Ни хлопот тебе, ни забот. Выпили – и ладно, и пылай оно всё синим пламенем... А потом, под снегом-то, её пособираешь, – имеет в виду картошку. – И добро ещё, не глина... Как пух, земля у них там, чернозём-то... Шабалины раньше жили, и дом-то ставили они, усердные, работающие, дак унавозили. И до них веками удобряли – ею, землёю-то, кормились, теперь её, бедную, только используют, терзают-лишь бы чё выгадать, да толку-то... А-а, не выкопают, шибко-то не опечалются... люди есть, не дадут умереть с голоду, – сказала так и говорит: – Рожь, поди, бы уродилась – вон черёмухи-то сколько... Раньше так всё примечали.

– Уродилась, – говорит Дима.

– Уродилась?.. Ну и слава Богу, если так-то, – говорит мать. – Убрать бы ещё да сохранить как.

– Убираем. Что потом с ней только делать?.. У меня таких, тётка Елена, полхозяйства, – говорит радостно, как об удачной рыбалке или охоте, Дима. – Треть-то, точно, наберётся. И какие: один краше другого – великаны удалые. – Сигарету из пачки достал, закуривает. – На разнарядке, – продолжает, – как сползутся, залюбуешься. Хоть всех в Кремлёвский полк определяй, – затянулся, дым нескоро из себя выпустил, в лёгких его, как пленника ненавистного, как дорогого гостя ли, прежде помуржил. – С утра пораньше гадости какой-нибудь, найдут, налижут, бродят потом до вечера по гаражу, где по деревне ли, с глазами шиворот-навыворот, зелёненькие... будто с летающих тарелок к нам насыпались... как марсияне. У Блока как там?.. Как у кроликов, Олег?

– У кроликов, – говорю.

– На трактор или на машину сядет – завгар с механиком не уследят, – то где заборишко какой сомнёт, то где на столб какой наедет. Хорошо ещё – никого не задавит. И взять с него, с мазурика, нечего, кроме цепей, хоть ты наказывай его, хоть нет – ему до лампочки – убогий-то. Откуда и каких только цуциков к нам, тётка Елена, ни наехало за эти годы. Не деревня, а плавильный котёл народов... Глядя на них, свои уж стали портиться...

– Оно, худое, заразительно... легко, и правда, прививается, – говорит мать. – Это доброе-то – нудой.

– Скандалят, пьют, воруют – проку только... Держу пока – детей их жалко, – говорит Дима.

– Дети-то не при чём. Конечно, жалко, – говорит мать.

– Тут, у меня, хоть школа, десять классов, – говорит Дима. – Выучатся, может. Всё-таки... Бездетных скоро погоню... Мне ни к чему такое счастье. Своего выше крыши. А инфаркт себе я и без них заработаю.

– А где ты путних-то теперь возьмёшь на место этих? – говорит мать. – Негде. Мир один – взболтали, дак во всём оно и мутно. Когда отстоится?.. Крепких мужиков, которых подгонять не надо было – сами надели на себя ярмо и из него, ярма, не выпрягались, – поизвели... это ж долбили да долбили – если не так, дак на войне... а остальных совсем отвалили трудиться. Пьянство – одна у них работа. Своровал, продал кому да выпил – всё и дело... Вон они, на виду, пример рядом... Вроде и люди неплохие... Трезвые когда, дак и живым вроде сквозит... душа-то есть – скрозь тело шильцем.

– Мужики – ладно, то ведь и бабы...

– Пьяная баба – вся чужа. Так говорится. Срамней-то чё бывает, нет ли... И не смотрел бы... Кого на фронт-то отправлять.

– Я каждый день такое вижу, – говорит Дима.

– Го-оре, – говорит мать. – Враг-то от них бы без оглядки...

Смеётся Дима.

Паутина в небе, поблёскивает – штопает его кто будто, небо – чтобы не разошлось – такое голубое – было синее когда-то – проносилось. Нитью серебряной – конечно. Воздух прозорчатый – будто отсутствует, но: вкусно дышится им – не насытиться – как перед смертью.

– Встречай, моя хорошая, встречай моя любимая... – это соседи. Незримые. Умолкли. Но то, что умерли-то – вряд ли.

Сели мы – я, мать и Дима – под берёзой на скамеечку. Молчим тихо – на дорожку.

Посидели. Кто что послушали – беззвучие – бывает шумное и иногда на уши больно давит. Я – своё сердце: так колотится – остановилось будто, и: будто вниз сейчас покатится – как камень.

Вертолёт летит куда-то. Стрекошет. *Пожарный*. За спиной у нас. Не оглядываемся: сухо – тайга горит где-нибудь – мало ли – безбрежно.

Минута протянулась – для меня так, ощутимо, для Димы как, догадываюсь, а как для матери – и думать не хочу, чтобы на месте жизни не лишиться; секунды проскочили – не запрудишь.

– Ну, ладно, – говорю я, поднимаясь – как в атаку.

И они встали – Дима и мать моя; мать – медленно, опираясь руками на скамеечку и батожок, охая; Дима – вдруг расторопно – подпекло его что будто снизу.

А у меня глаза на ельник – укололись словно – и слезятся. И так тошно – не пережить, кажется. Пережил.

– Ну ладно, мама, – говорю. И заело будто: – Ладно, ладно.

– Ладно, ладно, – вторит и она мне, словно эхо.

– Как рамы зимние на лето выставишь, – говорю, – мох этот уберёшь, я и приеду... Постараюсь.

– Угу, – говорит мать, не размыкая губ. И говорит, разжав их еле-еле, видно: – Ты бы писал хоть. То зимой-то... Письмо считаешь – легче...

Обнял я её – себя осилил – как противника, душевный увалень – не любо: проявить чувство – как погибнуть. Дрожит она у меня в руках, маленькая: *усохла* – не раскрошить бы. В землю проваливается словно – ускользает. Коровой от неё пахнет – утром-то управлялась – да и запах этот не выветривается, навечно въелся – как никотин в ногти у заядлого курильщика – за жизнь-то. Диму боком чувствую – смущаюсь. Тот взглядом – в сторону – что будто в окружающем нас пространстве выискивает. Пусть уж. Отыщет, может.

Отстранился от матери я – как лист от ветки – оторвался: осень.

– Поехали, – говорю – как повелел.
– Поехали, – говорит Дима – как подчинился.
– С Богом, – говорит мать – подавленная. И совсем уже шёпотом, но разбираю: – Благослови, Господи, сохрани дитя моё в дороге... Ну, и спутника... Спаси их, Господи, помилуй.
Будто в воде – вздохнул и – захлебнулся, ноги в илу увязли словно – и не вынырнуть.
Сели мы с Димой в машину. Тронулись. Как в пропасть. До тракта медленно, словно крадучись.

Назад не оборачиваюсь – умереть можно. И так знаю:

Стоит она, мать моя родная, кровная, по плоти, там, возле распахнутых на полную пята ворот, на малый шаг не сдвинувшись, на том же самом месте, сердцем вколачивая себя в землю, больше обычного ссутулилась, согнулась, будто небо ей на плечи вдруг обрушилось, через силу его держит – лишь бы нас оно, поехавших, не раздавило, и, затенив, чтобы от солнечных лучей зрачки совсем не зачерствели, глаза коричневой ладонью, глядит нам вслед. Нескоро перестанет. А в дом пойдёт... а в дом войдёт...

Перехватил слова кто-то – будто силком на них поставил в глотке – все уловились, наружу не выскочат.

Сижу в машине – как отгородился, но уж очень ненадёжно, – чувствую: грудь, горло и лицо мои вроде при мне, обращены вперёд, к дороге набегающей, а затылка, шеи и спины, словно у злого духа навки, нет – как будто там остались, возле дома. Теперь когда меня догонят?

* * *

Родительский дом, главой, хозяином, моим отцом, *смирно послеповавшим* прежде года два, после *без лишнего слов переселившимся в другие Палестины*, почти пять лет уже как навсегда покинутый, Ялань, в которой – Бог назначил мне родиться и пережить счастливо свои детство, отрочество и юность, и проведённые в ней три последних месяца, заполненных, по обыкновению, нескончаемыми деревенскими делами и заботами да тщетными попытками в ненастные и нерабочие по этой причине дни или тихими, если не принимать во внимание гул изредка пролетающих над Яланью совершенно к ней безразличных турбореактивных самолётов, шорох метеоритного дождя да шелест собравшихся со всей округи из густых и чёрных, как гудрон, ночных потёмков и снующих призрачно снаружи по стёклам большого, чуть ли не во всю стену, окна моего *чердака-кабинета* всяческих безобидных мошек, бабочек и мотыльков, долгими вечерами что-нибудь написать – ни строчки за три месяца, ни слова, – остались позади, за ельником, плотно сомкнувшимся за нами – за Димой, если не *забарахлит* вдруг у него (такая *тюлька* для жены, на самом деле ли) машина или сам Дима не *сломается* – до нынешнего вечера: назад поедет – разомкнёт; за мной – на сколько, Богу только ведомо; надеюсь, правда, что – до лета.

Ворочусь я в отчий дом —

Жил и не жил бедный странник... – само по себе будто, самочинно, самоправски, как говорят в Ялани, не спрашивая и не уведомляя меня ни о чём, во мне пропелось – как в приёмнике, который только что включили, а услышав это, сразу же и выключили. Нанесло, что называется.

Тут же и Дима, но тот вслух, *с выражением*, как на уроке литературы или с клубной сцены, продекламировал:

– Кого жалеть? Ведь каждый в мире странник – Пройдёт, зайдёт и вновь оставит дом... – будто и он на ту же самую волну настроился, крутя баранку, ненароком. – А-а?! – говорит.

– Ну так, – отвечаю.

– Ну так, – говорит Дима. – Все мы Божьей милостью крестьяне...

– Были когда-то.

Не увернулась от машины бабочка – вроде и ловкие обычно, не жук, не зря сачком-то, поди, ловят – размазалась жёлто-зелёно, хлёстко расчертив стекло, как трещинками, влипшими в него чёрными усами и лапами, – будто для смерти расписалась: я-де согласна – отпорхала. Что уж, отпорхала. Как бабочка такая называется, не знаю. Крылья коричневые, в чёрных, похожих на зрачки, пятнах, с ирисом жёлтым – как глаза.

– Кто, может, и был, – говорит Дима. – Был да сплыл. Пальцем показывать не стану. Я – был, есть и буду – земледелец, столбовой... пока земля носит... Мало грязи мне, ещё и ты тут, – это, всего скорей, уже про бабочку или про то, что от неё осталось. – После, засохнет, не отмоешь. Сколько всякого ещё летает. Солнышко показалось чуть, и отогрелись... Кое-кто и до морозов...

– Не смейся.

– А что?.. Мокрец-то есть у вас там, в Питере?.. Стою на этом.

– Брюхо не мешает?

– Стоять?

– Не видел. Комаров зато хватает... Земледельничать... Подвальные.

– Чё за подвальные такие?

– Тепло, вода в подвалах – благоприятная среда – размножаются... как туг в болоте или в луже. Мелкие, юркие – не поймаешь. Летает – не слышно. Не уснёшь с ними... ночью.

– Нет, не мешает. Наскажешь тоже... Помогает, – говорит Дима. – От политических ветров... Какие только ведь не дуют – без увесистого балласта заболтает. Шторма нынче на родных просторах такие свирепствуют, с цепи кто будто их спустил... Или... как там теперь... на постпространстве... Бореи разные, гипербореи. Нет, парень, брюхо не мешает.

– Заболтает.

– Без намёков... Город-то, вспомнил, на болоте.

– Земледе-елец.

– Земледе-елец... И на костях.

– Каких костях?

– И на болоте... Резина на колёсах, как китайская собака, совсем лысая. Лет ей сколько уж... как и машине... сколько и мне, чуть помоложе. Да город ваш, Петром воздвигнутый... На костях и на болоте... Надо на что-то где-то выменять. Мёду, как плюнуть, флягу спустишь. Сплошной убыток, а не бартер. Раньше на флягу мёду можно было... пол-Аляски назад выкупить. Теперь на пару покрышек не хватит... Жарки цветут – тепло ещё подержится, и хорошо бы. Пусть бы до марта, я не против. И ромашки... Видел? А то зима-то надоест... подумать страшно: не девять месяцев маленько – снег повалил, баба забеременела, а родила, ещё не стоял. Это тебе там... около Гольфстрима. Как возле гейзеров, хоть парься. Зимой с такой резиной не поездишь... Езжу однако... Хоть и постарше, но не лысый же, – говорит Дима. И говорит: – А брюхо к брюху и – номенклатура. *Скованные одной цепью, связанные одной целью...* Никаким ураганом нас не завалишь. Как чеснок острожный, листовенничный – плотненько-плотненько один к другому, без зазоров. Опыт. Связка. Дело-то такое.

– Не подступишься.

– Попробуй сунься... Мутант такой, профессия ли новая – номенклатурщик.

– Вряд ли. Стара, наверное, как мир.

– Вторая древняя?

– Вторая, третья ли, не знаю.

Смеётся Дима – зубы кажет – такой уж он с детства, хохотливый, и зубы у него ровные – под ладошкой их не прячет, есть и ещё ему чем похвалиться – золотой коронкой – играет с солнечным лучом та, будто живая и в хорошем настроении. После: зевнул, поёжился и говорит:

– Не высыпаюсь... будь оно неладно. Червь-душеед точет... тоска-то-злюка. Гложет, гложет... труха только сыплется... на дно души-то... омрачает. Никак от него, нутряка, не отвязаться, никакой касторкой не вывести. Ещё погода тут такая... Романсисисьская. Страда. Ночью – луна, хоть вой, в окно ли выпрыгивай, кузнечики – *пиликают на скрипках*, а днём... вон видишь... сердце щемит-от красоты... *Весь день стоит как бы хрустальный и лучезарны вечера*... Своё, возрастное, со стороны ли – что где подхватил заразное – вселилось?.. Сижу – клюю носом, как курица на насесте, вроде засыпаю, перед телевизором особенно, только лягу – хоть ты тресни. Встаю, брожу как очумелый. Не пить же каждый раз снотворное... Сопьёшься. И червяку – не в сухомятку... Танька уж прятать стала от меня спиртное. Забава с ней у нас теперь такая: я – когда принесу – от неё, она – когда *на лекарство* купит – от меня. *Найди* называется... Валенки на гвозде висят в кладовке, я – в один, она – в другой. Захотел как-то выпить. В какой сам прятал, не помню, а про её не знал, естественно. Полез руками сразу в оба – две поллитры! – ну, думаю, всегда сюда хоронить буду, потом допёр, что Танькин вклад... На сон не больше двух часов. Зимой выспимся, живы будем. Зима-то наша, Господи не приведи... Ты уж, наверное, забыл?.. Мысли, как мыши в бак помойный, лезут в голову. И об одном всё... будто озабоченный... На то оно и *бабье* лето. Это они нас провоцируют, чужие, как будто слаще, а их природа поджигает, осень – про годы им напоминает... От юбок шею уже ломит... Пусть уж такая постоит, чем заненастит. Пусть уж такие мысли, чем другие, то уж совсем... И за державу же ещё обидно. Раньше... Да ладно, хрен с ним, надоело. Коммунисты, демократы – одной свиньи мясо, след от копыт у корыта оставляют только разный... а крутятся-то возле одного... Кто его только наполняет им?

Говорит Дима не подряд, с перерывами – отвлекается на что-нибудь – то в зеркало посмотрит, то в бардачке зачем-нибудь пороется. Это уж я их, паузы-то, стягиваю.

Говорит он:

– Может, останешься дня на два-на три?.. Девочек свистнем – есть в Елисейске на примете у меня хорошие: всё бросят, общественницы, ради доброго поступка – да на пасеку сгоняем? Я их сметанкой угощаю – балую. Стройные – медички... Одна есть – бюст – хоть в боксёры на нём тренируйся, заспать титькой, как младенца, может... Оттуда так же отвезу вот... Медовуха, баня, тары-бары... Только без озорства и лядских штучек. Танька знает, что я верный, – говорит Дима.

– Кто же этого не знает, – говорю. – Каждая собака.

– Хорошо, что только лают, не умеют говорить... понабрехали бы всякого, при их-то общительности. Работа у меня подвижная – то там, то тут и ночь, полночь ли... Не высыпаюсь, в самом деле. С этой уборочной ещё... Успеть убраться за погоду.

– Ясно.

– Что тебе ясно?.. Ясно, ясно. Нельзя мне портить репутацию – руковожу... с народом работаю.

– Понятно.

– Тебе этого не понять. А пчеловод сболтнёт чё, сразу выгоню. Другого найду – не задача. Знает – побоится – дорожит местом. Так чё?

– Так чё?

– Поехали?

– Мы едем.

– Они тут у меня – он, пчеловод, Миша Орлов, наш, деревенский... ты ж его должен знать, по школе помнить... и помощник его, мариец Петя Солнцев... Стрельцы. Кремлёвские курсанты... Пили на пасеке вдвоём неделю – к ревизии психологически подготавливались да пчёл в омшаник перенести... дожди-то шли, погоду так переживали... Нынче вот... летом. У Пети коренной зуб сильно прихватило, терпеть не мог, и медовуха не спасала. Какая с этим уж гулянка – не расслабишься... Жалел, жалел товарища и полез Миша в рот к нему, на всё уже

согласному от боли, с плоскогубцами – зуб выдрать... Челюсть ему вывихнул, и плоскогубцы изо рта не вынуть – зажало там их как-то... между челюстями. Возил его в город, в больницу – вся поликлиника сбежалась. Едет... тут же, где ты... рот, как у придурка, разинут, а оттуда, как из бардачка, инструмент с красными ручками... и горько, и смешно. Опохмелялся-то как, горе ты моё, спрашиваю. Пальцем тычет в рот себе, мычит, маячит: из кофейника, мол, струйкой. Миша вливал ему, я понял. После, назад уж вёз его, так подтвердил... И не придумаешь нарочно.

Ну и что, подумал я, митрополит Сурожский Антоний, доведённый как-то среди ночи зубной болью, тоже был вынужден прибегнуть к помощи самых обычных клещей, которыми днём вытаскивал гвозди, и выдрал вон из своего рта ими досаждавший ему зуб. По-нашему – по-русски.

Глаза у Димы голубые – плутовски подстроились под небо. Так и сам Дима, когда не спит, лукавый – не в ущерб кому-то, не корысти ради – для общего веселья: скучать не любит и не любит скучных. Компанейский. *Вылитый, один в один, обличьем в дедушку своёва по отцу, в Дениса Полукарпыча, по прозвищу Ёра – шабутного был карахтеру старик, просмеиник, но незлобивый, зря не скажешь, напраслины не наведёшь.* Давно тот помер, я его не помню. «Прадед мой был, выходит, полурыба – Полукарп-то, – говорит Дима. – От рыб мы, значит... мои предки. Ну не от рыб, так от хохлов... от казаков, точнее, запорожских». А Дениса *Полукарпыча* и он почти не помнит, внук-то, только: «Серые катанки высокие, как бродни, толсто подшитые суровой ниткой – на полозьях будто, а не на подошвах, с чёрными кожаными латками на задниках, снимал которые он, дедушка Денис, только когда молился *по привычке за монархию и за здоровье атамана*, подкладывая их, мягкие, при этом себе под колени, и ушанка драная-предраная, будто собаки хорошенько её потрепали, а между ними, шапкой и пимами, – рот без единого зуба, в жёлто-седой бороде, провалом тёмным, как дупло, подёрнутое мхом, облаком постоянным дым махорочный, ядрёный, от которого бабушка Фиста, по её *честным и сурьёзным* словам, чуть в *омморок*, едва *дыхнув*, не падала и сердце у неё *неишадно* заходило, *бытто у синицы*, так за всю *жизнь-мучению совместную-то* угорела, ну и усмешка или кашель – вот для меня весь дед мой, дедушка Денис». И это немало – не безродный.

– Дела, наверное, в хозяйстве хорошо идут? – спрашиваю. – Всё хорохоришься да скалишься.

– Да как не хорошо, – говорит Дима, – отлично, на темьян уж если дышут... С такими ценами на технику, на топливо и на запчасти... Гайка для «Кировца» дороже меня самого со всеми моими потрохами стоит. Вывеску надо поменять, под чью-то крышу заскочить ли, то и последнее опишут... Нашёл бы ты мне там бандитов пострашнее: *нет кармана без нагана, а голяшки – без ножа*. На Ислень бы их возил тут, на рыбалку, отморозков, – денег нет, натурой бы отстёгивал, природой то есть... Баня, девочки и медовуха – оттяг конкретный.

– Для них это не вопрос, думаю, где и как порыбачить.

– Ну и ладно, хрен с ними, пусть рыбачут до усёру. Где наша не пропадала... Опишут, после распродадут между своими по копейке и про свой бюджетик не забудут. Грабёж, но всё как будто по закону.

– И тебе ничего не останется?

– Останется... Дырка от бублика, как Федя, помнишь, объяснял нам в школе?... Оста-авят. Носки дырявые – и те-то, поди, снимут... Носки-то так уже – из вредности. Сладко куражиться, когда при власти. Власть есть, и штанов можно не носить.

– И веселишься, – говорю.

– Ну так а чё? – смеётся Дима. – Жизнь же на этом не кончается.

– Пожалуй.

– Пойду с котомкой побираться. Мир большой – с голоду не помру... Люди же просят – вроде подадут... Петь, плясать под гармошку стану. К цыганам пристроюсь. Фокусы с картами показывать умею. Голос-то у меня какой, ты знаешь. Кого хошь разжалоблю.

– Разжа-алобишь. А не разжалобишь, так... Рыбу глушить ты им не пробовал?

– Идея... Ну, это так уж, в крайнем случае.

– Рыбу глушить?

– Нет. Побираться.

Едем.

«Победа утверждающей технической цивилизации центральной власти в Гражданской войне с русским крестьянством, этим “неудобным” и “реакционным”, по Макрсу, классом, достигнута, – подумал я, словно записывая на бумагу, так, чтобы после записать ли. – Начатое Тухачевским, Уборевичем, Ягодой и Ульрихом, под идейным руководством Ленина, Свердлова и Троцкого, закончилось успешно... Или?.. Как всё же хочется надеяться. Но:

*К нам вести горькие пришли,
Что больше нет родной земли.
И Север – лебедь ледяной —
Истёк бездомною волной,
Оповещая корабли,
Что больше нет родной земли!*

Одна сплошная лесосека, безбожно изрытая гусеницами трелёвочных тракторов и заваленная пнями и вершинником, останется. А лес, в виде куцега *кругляка*, к *соседу-тигру* отко-
чет. Тому немало надо – многоротый... Всё-то мы плачем, *деревеничина*, забыв напрочь, что:
на всё Божий указ... И о Родине твоей промыслено».

Едем.

– Да-а, – говорит вдруг, вздохнув и прикуривая очередную сигарету, Дима. – Втаскивали, втаскивали силком, за уши, голову чуть ему не оторвали, а кому и оторвали, крестьянина в социализм... Там теперь его, похоже, и оставили. Сами, тащили-то, устали – на Канарах отдыхают... Трое суток из машины не вылажу... только пожрать... да по нужде.

Асфальт зимой, как в зной глина, потрескался – перед морозами не устоял – *собачьи*. Починили дорожники его летом – теперь узорчатый от *явного ремонта* – как будто тушью чёрной разрисован – *узор* лоснится, топится на солнце. Тяжёлые лесовозы – гружённые под завязку КамАЗы да КраЗы – пойдут позже, когда зимники *станут*, так что пока ещё и не разбитый. Ровно катится по нему машина, рессорами не скрипит, подвесками не гроыхает, хоть и раздолбанная вся, как потаскушка, – так он, Дима, о своей машине выражается, – дребезжит только разной прикрученной слабо или вовсе не прикрученной мелочью, – но тут: *как музыка – у-а-ази-ик* – ещё бы много так не *ел*, дескать, а то бензина на него не напасёшься.

Налево, направо посмотрел Дима.

– Велелепота, – говорит; глубоко вздыхает после. И спрашивает: – Может, на Монастырское, к отцу Иоанну заедем?

– Нет, – отвечаю, – не заедем.

– Он там, в часовенке.

– И ладно.

Разнолесье. Светлое. То и дело, вдруг открывшись, блеснёт справа отражённым небом с плёса, дробно сверкнёт ли солнцем с переката Кемь, *зацветшая*, позеленевшая – *в ней Илья уже написал*, – то не видать её опять – запрячется – под крутым, высоким яром, от дороги ли отвернёт – к самому Камню – дальше тот уж не пускает. Высятся слева вылинявшие за лето на самом солнцепёке Хребты, другая гряда сопков, помельче Камня, вдоль которых, подтачивая

их, стремится к Кеми быстрая, каменистая речушка Песчанка, по-местному Пешшанка, мыли в которой когда-то старатели золото, моет, быть может, кто-то и сейчас, конечно – *кратче: на хвост-то сядут, не отвертись – гэбисты или так, головорезы вольные* – теперь и зря уж, может, опасаются, не знаю. Вершины и пологие стороны Хребтов в недавнем ещё прошлом были распаханы и засеивались рожью – к этой поре её уже и дожинали, под беззвучные зарницы, – теперь скоро, будто торопятся, зарастают где тальником, где сосняжком, а где осинником – этот не прозеваешь, как осот на огороде, – расторопен и неприхотлив. Ничего, скоро и его, осинник, соседи наши, китайцы, *закажут*. Заказ старательно исполним – мы такие, скорые на добро.

Едем.

Молчим.

Одной рукой, длинными, мясистыми пальцами с пожелтевшими от табака ногтями, с золотым обручальным кольцом на безымянном, под животом своим на руль её *фасонисто* повесив, Дима правит, в другой у него, в левой, – сигарета. Курит. Буднично – как дышит, без трагических затяжек. Дым выпыхивает вежливо в открытое оконце, за ним, за оконцем, и сигарету держит после, как затаится: *привык угодничать* – подвозит часто *разных дамочек, а те есть... фифочки такие: там без волнения и скорость-то не переключишь*. Ясно. Табачный дым спокойно я переношу. Похож Дима – *и обличьем, и статью* – на эстрадного певца Лещенко, не на того, покойного, из эмигрантов – *у самовара я и моя Маша*, как тот выглядел, я и не знаю, – а на нынешнего, телевизионного. Сигареты «Пётр Первый». В бардачке полно их, пачек пять, а то и десять: *чтобы уж в магазин за ними каждый раз не бегать, не отправлять туда кого ли – запасаясь*.

Я: вперёд лицом – затылка дожидаюсь – тычусь в лобовое стекло машины зрачками, как в помеху, пялюсь во все глаза на лес осенний, разноцветный – родной он тут, исхоженный, как деревенская поляна, – душа за каждый куст и сук цепляется – виснет на них яркими лоскутами – как на колючей проволоке – ещё бы кто, как беглую, не подстрелил.

– Хочу написать про бабушку, – говорю.

– Про какую? – спрашивает Дима. – Русской революции?..

– Русской... Ты тут, смотрю, когда-нибудь хоть подметаешь? Пол в машине... как в конюшне.

– А зачем?.. Иногда, – говорит Дима. – Всё равно же натаскаю... Выходить приходится не только на асфальте...

– Ну как зачем – а дамочки?

– А дамочки потом... Что, теперь для них мне тут соорудить сауну с циркулярной и с массажным отделением?.. Обойдутся. Боевая обстановка – так спокойней себя чувствую. Вездеход. Машина военная, – говорит Дима. И говорит: – И в сексуальное наступление в такой в ней легче сломя голову броситься. При марафете-то, ещё Суворов, помню, говорил... Грубость и простота действуют иногда на женщин более успешно...

– Не ври. Прибраться можно же маленько... А то и грязь тут, и трава, и листья, и окурки.

– Травы и листьев человек не видел!.. Свою займешь, в ней и команду. А то... фельдфебель будто... разворчался. Пешком иди, там и ругайся. Едешь и едешь, – радуется Дима. – И говорит: – Не угодишь.

Чуть ли не сразу под Фомой-горой – и почти резко, разграниченно ручьём, как голубь, воркотливым, с водой, прозрачной, как слеза, и в летний зной, как лёд, холодной, Смолокуреным, животворно втекающим в застойную кемскую старицу, – сменилось разноресье бором, то, чересполосно, *чистым*: выпирающие из земли корявые, словно ревматические, корни – как будто тянет кто-то сильный, выдирая, сосны к небу, вот потому они и выпирают, корни, – жалко, прикрыть, засыпать почему-то хочется их, – бурая, колкая, как иглы швейные, давным-давно отжившая своё хвоя, ягель, как будто мёртвый, шишки палые, ершистые, песок,

и только, без былинки, без кустика, то – *брусничным* и *черничным*; с медвежьими ушками и багульником, с повелицей и саранками. Солнце через бор сквозит, через янтарный будто. Таился здесь когда-то лагерь: лес *строевой* валили заключённые – остались только ямы от бараков, отличимые по форме и по глубине от дегтярных. Ни колеи в бору, ни рытвины, ни старых тлелых груд – вершины и сучья на месте, конечно, сжигали, а брёвна к Кеми на лошадях возили, на себе ли. *Зэки*. Тут же, в бору, между дорогой и рекой, есть озеро, красивое, одни его называют Яланским, другие – Монастырским, в крутом, высоком берегу которого, как стрижиные гнёзда, были устроены когда-то кельи, полуземлянки. И от них остались в память только впадины, щербины, вмятины ли. Да вот ещё: *намоленное место*. Во время Гражданской войны кельи осиротели. По одним сведениям, девятнадцать, по другим, сорок монахов – такая вот наша, русская, бухгалтерия, может, и верная, как посмотреть: разве одна душа страдает меньше, чем другие сорок вместе взятые, одинаково в распятом Господе, – словно незрячих котят, утопили заживо те, кто, взбадривая себя *экспроприированным у преступников*, у отчаявшегося от *беспредела* народа то есть, самогоном, бродил тут под красными знамёнами, обозначив себя красными же ленточками, ещё пока без пентафаммы, как знак, они её, звезду пятиконечную, нацепят позже, – не уводили далеко-то – в озере. Чем их отшельники так рассердили, чем так разгневили? – вроде не बारे, не буржуи – всей и собственности в келье: ложка, плошка да икона – разве что кротостью своей, своим смирением – такое тоже раздражает, хуже того, пожалуй, *бесит* – когда поклонись иному...

Бор миновали – здесь он неширокий: его окраину, *язык*, пересекает тракт – как перекусывает, а основной его массив уходит к югу, вверх по Кеми, на много километров.

Лисья горка. Древний берег, давно неверною рекой уже, наверное, и позабытый, веретия – спуск простой, прямой, но поворот крутой под ним, *коварный*.

Низина. Затопляется в половодье Кемью и Песчанкой – пойма. Весной здесь, в самый разлив, по дороге не проедешь. На лодке только переправляться, на плоту ли.

– Мужики весной здесь, – говорит Дима, – уток караулят да ошалевших зайцев с островков снимают, как Мазаи.

– Да, – говорю.

Пихтачи непролазные и кедрачи вековелые. А между ними – как проплешины – покосы заливные, еланые – зароды там и там виднеются – в остожьях: *чтобы не убежали* – как лоси в загонах, но похожи они, зароды, больше на мамонтов.

Сворачиваем к обочине. Останавливаемся.

Лиственница. Бросается в глаза – над лесом возвышается – как переросток. Старая, великая, *в три обхвата*, и снизу подгоревшая от весенних лесных пожаров – палов, как говорят здесь, – и с макушки не один раз молниями отмеченная – ствол её в косых, глубоких и широких ранах-трещинах – розовеет из них тугой плотью, но ещё живая – там, в вершине лишь, в опушке, и *листва* ещё зелёная, не пожелтела, и, что у комля её происходит, не видит да уже и не интересуется этим, кажется, – вся вниманием как будто в небе, в лёгком мареве ли горизонта – своё что-то, *листвяжное*, там выглядывает, и пусть ей сбудется, доброе-то.

Я остаюсь на месте. Дима, заглушив двигатель, выбирается из машины. Берёт с заднего сиденья садовые цветы – жёлтые астры и бело-красные гвоздики, – идёт, чуть слышно шаркая каблуками по асфальту, перешагивает грузно через неглубокий тут, песком замыйтый по весне, кювет, кладёт цветы к лиственнице. Стоит там сколько-то, склонив русую, со сверкающей, как небесная паутина, редкой пока ещё сединой голову, и, скоренько, как крадче, перекрестившись, возвращается.

Посидели молча – как незнакомые. Покурил Дима – подумал будто – сосредоточенно – как о чём-то; табачный дым изо рта у него – сам по себе будто – как своевольный, затем – в окно и – только его видели – куда-то, следить за ним, за дымом, – как за ветром, дым – как предатель.

Захлопнул Дима дверцу. Запустил двигатель.

Тронули.

Едем. Дальше.

– Сколько лет бы ему было? – спрашиваю.

– Двадцать, – отвечает Дима. – Послезавтра бы исполнилось.

– Царство Небесное. Крещёный был?

– Сентябрьский... Крещёный.

Молюсь в душе о погибшем – о юноше, о Димитрии, о Димитрии Димитриевиче.

Высоко, неспешно, как в радости, прострачивают небо – бархатным пёстрым швом и длинными стежками – в разных направлениях кедровки – от кедрача до кедрача, до гнёзд своих ли, до хранилищ – редко помахивают крыльями, несуетливо – лёгкие, в небе от них – как многоточие – значительно – о чём вот только? – может быть: о Господе – скорей всего, не о пустом же. Полно и шишки нынче уродилось, рясно на кедрах – ветви от них обременились – гнутся, то и ломаются – бывает. Всем хватит. И людям.

– Десять мешков нынче нашелушил, – говорит Дима. – Так-то вот. Десять. И это чистого ореха. Представляешь? Не Обломов: на диване не валялся. – Смотрит на меня – отвлёкся от дороги, к ней опять, к дороге, обратился – как к чему-то. – Шульц другой-то... или Штольц ли?.. Сколько лет уже не перечитывал. А надо.

– Сам? – спрашиваю. – Штольц... Добытчик. Непоседа.

– Ты – Обломов?

– Я – Обломов.

– Штольц, так Штольц, согласен и на Штольца... Люблю, Илья Ильич, нашу, русскую, литературу – про нас убогих и грешных... душевная. Особенно – Лескова. Ёлки-палки, «Чертогон»-то. На пенсию выйду – всю перечитаю... Если, конечно, доживу и не ослепну – с такой работой... свои, колхозники, ли не убьют – могут. Порешат и не расскаются. Полный шкаф дома, ещё и на полатах – сестра, Надежда, на талоны покупала, замуж вышла, в город перебралась – оставила. Часть, правда, с выданными страницами – батя, газет на это дело не выписывал, на козьи ножки израсходовал – на Кемь отправится рыбачить, странички три-четыре вырвет – много успел *перечитать*. Там их, страниц, полно осталось в книге, дескать, всем ещё хватит почитать, мол. Грустная только... Одна «Деревня» вон у Бунина, а «Суходол»-то... Нашелушил сам. Лично, – говорит Дима. – В своей собственной ограде. Шелухи – гора Пик Коммунизма – вровень с крышей. Куда девать теперь, не знаю. Танька ругается: в потёмках-то обходит – когда в баню, под навес ли – завалюсь, мол, кости все себе переломаяю. Их, говорю, в тебе много – штук двести – гипсу не хватит на тебя в больнице, ходи уж, дескать, осторожней... Ваньке, шучу, зимой с неё кататься, санки куда-то не таскать – рядом. Нажил опять себе заботу: сжигать весь этот ворох дома – копоты будет пуще, чем от кочегарки... вывезти ли куда?.. Смола ведь. Лишь бы не делать, говорит... Да просто руки не доходят!.. Нашишковали люди. Заплатил им. Не деньгами, а соляркой. Та для них сейчас что деньги. И тебе привёз маленько... После возьмёшь. Пакет. Там, за сиденьем. Только напхни, вдруг забуду.

Смотрю я на Диму. Он – на дорогу – и говорит:

– Ну не солярки же – орехов.

– Барышень, – говорю, – угостишь, если забудешь. Не пропадут.

– Не пропадут, – говорит Дима. – Выщелкаются... Зима-то – Господи, помилуй – вечность... и десяти мешков ещё не хватит. Кому-то, – говорит, – и Штольцем надо быть... Вы ж без него и лампочки не вкрутите, гвоздя не забьёте.

– А Ваньке сколько твоему?

– Девятый... Всю жизнь прочешетесь в потёмках.

– Большой, – говорю. И говорю: – Белка нынче будет. Похоже.

– Есть, – соглашается Дима. – Будет. Местная. Не боится пока, невыходная, так показывается. Идешь, сидит невысоко где на суку, видишь, и дразнится – цокает. Это потом... найди её, игруню. Не всех выбили. Корму вдоволь, так останется. И из других таёжек подтянется, из-за Ислени. Не везде шишки столько. В Томской области вот нет, – говорит Дима.

– Откуда знаешь?... Вроде рядом.

– От людей слышал, откуда... Соболь тоже, значит, подойдёт... Рядом, рядом, а вот нету.

– Промышляешь?

– Нет. Когда мне?..

– Слава Богу.

– Слава Богу, слава Богу... Кто знает, что во славу, а что нет, и мне, комсомольцу-то со стажем, пускай и бывшему, слава КПСС – оно привычнее... Каждый сезон всё, осенью, как путный, собираюсь. Когда, скажи... с такой обузой. И патронами запасаю – оборону держать можно, Родину защищать – ружьё расплавится, пока все выстрелишь. Чем зимой ещё заняться-снаряжаюсь... Мальбрук в поход собрался, наелся кислых щей... Столько врагов не наберётся, сколько у меня охотничьего провианту... Вскипел вчера – тосол добавить в радиатор надо, воды подлить ли?

– Смотря откуда набегут, – говорю, – а то и с лихвой неберётся – заполонят... Обуза... Брось. Уйди.

– Легко сказать. Давно бы бросил, кто потянет? Это со стороны легко критиковать да обещать: вот я бы, дескать... Встань – попробуй... Все мы Столыпины, пока ложкой за столом машем да языком мир переворачиваем... А тут и в доброе-то время – Север... Людей жалко. Так хоть что-то где-то да перепадает. У меня, как хочешь, связи – чё продать куда, где чё поклончить. Не первый год в рассоле этом... Ушёл давно бы.

– Связи.

– Связи.

– Всё на связях?

– Да, на связях. И оттуда всё ещё, от прежней власти. Власть, она и поменялась, может, люди – нет: везде все те же. Мир стоит на этом, парень.

– Мне казалось, на другом на чём-то, – говорю.

– Нет, другое только подпирает, – говорит Дима. И говорит: – Смотря откуда – это точно. Их уж столько здесь... как нынче белки... Тихой цапой завоюют, и край Исленьский будет уже не край, а – провинция Хунь-Сунь – производитель лука... Эх, смотать бы, Олег Николаевич, в тайгу месяца на два-на три да подальше.

– Кто не даёт?

– Да Танька не отпустит.

– Ну, помечтай.

– Хоть помечтаю.

– А почему Хунь-Сунь?

– Так просто ляпнул.

– А, – говорю.

– Да, – говорит.

В горку поднявшись, въехали в деревню, словно взлетели в неё, в горку – тоже когда-то бывший берег – река оставила, гулёна: берег такой – как будто однолюб, река такая – *вертопрашка*. Ну, при такой-то красоте простительно. Полоустно – так она, деревня эта, называется. Кемь была когда-то рядом – чуть деревню не слизала, к часовенке, уже на нашей памяти сгоревшей, подбиралась, подобралась почти, что-то раздумала вдруг, отвернула – и теперь вот от деревни до изменчивой реки метров четыреста. Есть тропинка – люди натоптали, и свои, естественно, отдельно от людских, скотина набродила: чтобы попить и на воду попятиться, –

через старицу, глухо и удушливо затянутую ольшаником, крапивой, смородинником, таволожником – *чапыгой*.

– Дом вон... – говорит Дима, ни рукой, ни головой, ни взглядом никуда мне из машины не указывая. На дорогу внимательно смотрит: чтобы развалившихся без памяти и *без задних ног* на ней свиней, разомлевших на солнце, не задавить, – и спрашивает: – Помнишь?

Крестовик. *Листвяжный*. Бурый. А когда дождём его намочит, и в грозу особенно, становится, покуда не опомнится и не обсохнет, сине-малинового цвета, будто и не дождём его облило, а – раствором марганцовки. С высокой, ровной четырёхскатной крышей и с просторным, знаю, чердаком. Под шифером. Шифер древний – махоркой и порохом будто обсыпанный – мхом и плесенью так взялся; в листьях палых – как в заплатках – пока ветром-то не сдуло. Палисадник со стороны улицы и заулка – *буквой Г*. С улицы в нём две старые рябины, чуть ли не сплошь сейчас увешанные тяжёлой картечью оранжевой ягоды, с заулка – тополь, дом под ним, словно игрушечный, – ну а завалится? – не смял бы. Штакетник крашеный – зелёный – однотонный, краска давно уже поблекла. На одной из штакетин висит велосипедная покрывка – искривилась так: в знак бесконечности.

На дом смотрю, в окна, отражающие улицу и небо, прячущие за этим отражением внутренности дома, бесцельно вглядываюсь, но Диме не отвечаю.

– Сердце болит? – только что серьёзный был, сосредоточенный, опять смеётся.

– Отболело.

Больше того смеётся – неуёмный, по-чалдонски если выразиться: в захохотки.

– А как она? – спрашивает.

– Не знаю, – отвечаю.

– Сколько продержится погода?... Хочу на Таху выбраться дня на два-на три, порыбачить... Да и я давно её не видел. Слышал, одна вроде живёт... Ну как одна... то есть не замужем. Андрей Мунгалов с ней общается.

Притормозил Дима возле ларька. Ушёл молча, дверцу распахнутой оставив. Долго не было его: *калякал*, выяснилось после, с продавщицей.

Вернулся с литровой бутылкой водки. *Сибирская*. Улыбается – как кот Чеширский: сам ещё на улице, а улыбка уже в машине.

– Девка в прыску, как говорил отец твой, дядя Коля, свободная – по-настоящему тоскует, а тут-то чё – то пьяницы, то сопляки, какой с них толк... ей, фигуристой такой, с ними не интересно.

– В чём же дело?

– Я вот тоже... Заеду как-нибудь... Сегодня, может.

– Не сомневаюсь.

– Ночью. Спросил, она тут до утра... Да-а, – включив скорость и трогаясь с места, говорит Дима задумчиво, – настоящих мужиков история, как воробьёв наши жёлтопятые соседи в своё время, выбила.

– Ты же живой.

– Один на всю округу.

– Так отдувайся.

– Ну так... Похоже, место Бог готовит для китайцев... Мы не управились.

– Помилуй, Господи.

– Глазами на меня, как Ленин – на Почтамт.

– Кто? – спрашиваю.

– Да продавщица, – отвечает Дима. – Интересно.

– Что?

– Да в прошлом веке, в позапрошлом ли уже, может, и издавна, всё сёстры ссорились – Англия, Франция, Россия, Пруссия. Если что путаю, ты же отличник, помню, был-попра-

вишь... Браток подрос теперь – Китай. Ох и, похоже, оседлает он соседнюю сестрёнку... После и до других сестёр, пожалуй, доберётся. С таким числом сперматозоидов... долго не станешь онанировать – утонешь.

– Он не подросток, а – уже дряхлый. Не браток, – говорю, – дедушка.

– Дедушка... Какой дедушка, – говорит Дима, – иной дедушка так насядет, что к кровати пригвоздит, к земле ли... где догонит.

– Надеюсь, что не доживём до такого позора.

– Надежда – дело не последнее. Тебе не жалко?

– Жалко кого?

– Да Родину, а не кого.

– Жалко. И что?.. Историю не мы творим... Хоть зажалейся.

– А кто?

– Да Бог.

– Придумал сам или услышал от кого?.. Тут ещё эта... демография.

– Сегодня ночью и поправишь.

– Сделаю всё, что от меня будет зависеть.

– Уж постарайся.

– Совесть вот только не позволит.

– Своей Татьяне это скажешь.

– Так, о торговле потрепаться.

За деревню выехали, свернули с дороги на поляну, возле ельника остановились. Достал Дима из бардачка, разгребя там шумно пачки с сигаретами и спичечные коробки, пластмассовые стаканы, один в другой всунутые, и завернутое в газету сало солёное, *с прожилкой*. Нарезал сало и хлеб на какой-то, замасленной уже, научно-популярной книжке в мягком переплёте, из бардачка же вызволенной. Бутылку открыл, налил полный стакан.

– Выпей, – говорит. И говорит: – Не переживай. Глядеть на тебя тошно. Буду заезжать, проводывать... Лица на человеке нет...

– Хорошо бы, – говорю. Выпил. Занюхал хлебом. – Лицо, – говорю, – есть, какое уж, не вижу, затылка нет – чувствую.

– Чего?.. Закусывай.

– Да ничего.

– Сколько ей лет?

– Без году девяносто.

– Ого, – говорит Дима. – Нам столько не протянуть... Ещё, смотри-ка ты, и от коровы не отказывается. В её-то годы. Мои колхозники бы так... Никто не хочет нынче напрягаться. Соблазнили всех большими лёгкими деньгами, все и забыли, что в поте лица... Туда, к себе, перевезти её не собираешься?

– Ты чё.

– Ну да... Морщишься – горькая?.. Она там затоскует.

– Как омег.

– Да водка вроде... не палёная. Хотя... Ну, теперь вместе... тоже надо. А то нервишки от забот уже... как у прыщавой незамужней истерички... Уж и на Таньку стал кричать.

Наполнил стаканы.

– Давай... За всё худое и хорошее, – говорит Дима.

– А за худое-то зачем?

– Да так я, ляпнул чё попало... Мичман на Флоте приговаривал... Чтобы хорошее лънуло, а оно, худое, стороной обходило.

Чокнулись. Выпили.

– А не боишься? – спрашиваю.

– Кого?.. Гаишников. Да нет, – говорит Дима. – Подкармливаю. Пользуются. Кому зерна, кому комбикорму подкину, то молока или сметаны, то лес кому-то из них выпишу – напилят. Куплены... с потрохами, – и смеётся. – Я тут как папа Карлеоне.

– Ладно, что есть ещё на что.

– Кого там... Теперь за тех, кого нет с нами.

А потом:

Солнце – такое же яркое, каким и было до того, как мы остановились, – не затемнилось, не померкло. Небо – такое же ясное: ни пелены на нём, ни облака. Ни ветра. Ельник – сколько его помню – всё такой же – молчаливый и зелёный; простреливают его тихие почему-то нынче ронжи и сороки, не шевельнут и ветку, не заденут. Даль за ним, за ельником, – голубая, светлая – как и всегда, в хорошую погоду – манит, внушает грусть: жаль, дескать, крыльев нет – то полетел бы.

И я тот же самый вроде, не прервался. Но вот: тепло внутри – не так, как было, – камелёк во мне как будто затопился; сижу мягче – как подплавился; уютнее теперь; затылок – ощущаю – прибыл: догнал, значит, не утерпел, на своё место в голову мою встроился – как недостающая деталь *лего* в общую конструкцию, вмонтировался – теперь я цельный, целомудренный.

– Полегчало? – спрашивает Дима.

– Маленько, – отвечаю.

– Ну, – говорит.

– Ну, – говорю.

Допили бутылку. Посидели ещё сколько-то, пожмурились на солнце.

Поехали.

Кемь по мосту перескочили.

Тут уж и Елисейск не за горами.

Ислень сияет водной гладью.

Время иначе заструилось – не встречь, а вроде как – попутно, в глаза заглядывая нежно.

* * *

Это всё, Господи, Твоё, а я кто?! – будто прозвучало. Во мне – гулко – как в пустом доме. Кто произнёс?..

Иду.

И день ещё, конечно. Тот же. Красный. Благолепный. Словно икона древняя, намоленная – проповедует. Как не уверовать – предметно, очевидно – без колебаний обращаюсь, без сомнений – сердцем: стучит?.. – колотится – так стало быть – вмещает. Вмещит ли? – ёмкость не безмерна... Ясный – не пасмурный – не под олифой потемневшей – расчищен будто, обновлён. В самом пылу, пусть и умеренном – не летний, не июльский, хоть и пронзительный, проникновенный. Я в нём – как ось, как средоточие, а потому сейчас особенно о нём и не забочусь, мельком лишь, по привычке будто, отмечаю: вокруг меня всё раз *по образу*; я в нём – как столпник – среди дня-то. Ну, только – *мушка*... сбоку от глаза... маячит меленько – смущает.

Преполовение.

Иду, содержательный, не раскололся бы – сосуд скудельный, рассуждаю: вот, мол, иду, направился, куда – помню, а откуда – нет, провал полный – из памяти в беспамятство; левой ногой – слежу внимательно за ними, и за левой и за правой, наблюдаю – безукоризненно ступаю, правой – немного заплетаю, словно обмётываю путь свой *через край*, чтобы не растрепался, – этим в отца – и тот был *косолапый*, тот-то уж *шибко* – как *медведь*; походка наша – вместо герба – я унаследовал, не уклонился; у нас она – *по младшинству*.

Иду. Думаю: «Вот ведь».

И думаю: «Ну, ё-моё... Ё – буква самотная, эгоистичная – всё тянет на себя – такая... мне уроком. Я ей, конечно, не подобен».

Подумал. Иду. Сам с собой согласный.

Мальчишка, лет семи или восьми, белобрысый, короткостриженный, бобриком – щетинистый, как ёрш для чистки стёкол ламповых или бутылок, с розовыми, прозрачными, как витражи, на солнце, оттопыренными, будто нарочно отогнутыми, ушами, по-летнему – в трусах и в майке – разжарел, сказали бы в Ялани, тепло-то, мол, тепло, но всё же осень, и я ему мысленно: разжарел, дескать, малый, – со свежести и давно разбитыми коленками, согнав с дороги воробьев, катается по ней кругами и восьмёрками на дребезжащем крыльями, слабо закрученным звонком и болтающимся багажником велосипеде. Драндулет допотопный, возможно – ЗИФ – из детства моего припоминается; смонтирован из всевозможных запчастей – разноколёсый, многоцветный; взрослый, мужской; мальчишка низкорослый, поэтому: *под рамой, шкет, ишишо кататса, с сиденья ножками не достаёт* – тоже оттуда же, из детства, даже ко мне, скорей всего, тогда и обращённое – от друга, может быть, от Рыжего, от Вовки. Наехал, зеворотый, на бревно, в торец его передним колесом глухо ткнулся, упал в кювет громко, на велосипед прямо, раскровенив опять себе колени, встал, велосипед не поднимает, смотрит на него без интереса – надоел ему, похоже, транспорт, а занялся им – от скуки – так кажется. *Прогульщик*. Типичный. Нет тут, на улице, других детей – все, конечно, в школе, только этот. Глянул я на него – как отсканировал. Знаю, что в памяти когда-нибудь всплывёт – сам по себе, без вызова, – бывает. И пусть всплывёт – мне родину напомнит – мою *тонгусскую землицу*. Люблю-то, Господи, люблю-то... Завидую я ему, мальчишке: тут остаётся, никуда его из дома и от дома не несёт. А он завидует мне? Вряд ли.

Иду. Иначе это ощущаю – что иду-то, как иду ли – необыденно: притяжение земное – его суровая необходимость – вопиет ко мне непредвзято, отчаяннее, чем ещё вчера, к примеру, или ещё сегодня утром, – опекает. Трепетно, милосердно. То ведь и извальяет. Ну и понятно: мозжечок мой, штурман, будто отлучился – разнузданный: чуть что, *маленько я...* так и, про долг забыв – *бегун и хороняка*, брешь, а не штурман, – в *самоволку...* Раз набекрень-то, пусть дуркует. Обойдёмся. Ноги и без него, приноровились вон, управятся. Снуют, чешут. Как по струнке. Медведь, тот тоже косопятый, но догони его – куда там. И я вот... Правда, за мной никто пока не гонится.

Иду. Слышу: *днём денна моя печальница, в ночь ночная богомольница* – так во мне вдруг выкрикнулось – как откликнулось. Будто опять меня включили только что и тотчас выключили – как транзистор. Смолкло. Шумит – своё теперь, не с чужа: душа моя стучится в перепонки, бьётся – назад, в Ялань обратно просится – так извелась уже, истосковалась – пленница. Я для неё – тюрьма?... или – тюремный надзиратель?

Иду – по улице – как поршень по цилиндру – впритирочку – не заклинить бы, опасаясь. После Ялани так – в ней и обзор иной, свободно: куда ни глянь, повсюду мироколица, там зацепиться можно только взглядом, тут – тесно, сжато, нагромождено, после *маленько-то* – уж вовсе. Надо идти – инерция.

Иду.

Корова, комолая, игреней щери, яростно, словно решила, обозлившись, уронить и перегородить прямо передо мной ими улицу, чешется о деревянный, просмолённый снизу столб – один из четырёх точно таких же, между которыми висит серо-голубой электротрансформатор с убийственной *молнией* на крышке. Корова – молча, трансформатор – гудит что есть мочи, не только от напряжения, но, может быть, и от досады на скотину – привязалась; *молонья* – *сверкат*, но той – корове – *хошь бы хны*. Коров тут, в Елисейске, как собак нерезаных, как в каком-нибудь индийском городе, и ведёт себя эта скотина тут так же, как – в кино каком-то доводилось видеть мне – в Бомбее или в Дели: позволяет себе запросто, не обращая ни на кого и ни на что никакого внимания, расположиться бесцеремонно на газоне, общипать цветы

с клумбы возле вездесущего памятника с кепкой в руке и обкаканной голубями и воробьями лысой и *самой умной в мире* головой, или разлечься дружным стадом в центре города – люди обходят их, машины – объезжают, а иностранцы, высыпав чужезыко и пустоглазо, как причёсанные и помытые, но всё же дикари, с круизного теплохода, – их, коров, фотографируют – такую невидаль. Вот уж ума-то. И у этих, и у тех. Как в памятнике. То, смотришь, фотоаппарат ослепительно вспыхнул, то он, дикарь, – многозубым *смайлом*. Коровам всё *по барабану* – даже не жмурятся от этих вспышек.

Прошёл. Иду. Пока не клиню. Сама для себя корова так и осталась в настоящем, думаю, а для меня она, комолая, уже, мол, в прошлом. Значит ли это, что я в будущем?.. по отношению к корове, которой... тоже всё *по барабану*, как и всем её сородичам. Надо обдумать будет это на досуге. Пока не думаю. Иду. Думаю: и ей завидую, корове, – та тоже родину не покидает. А она мне? Тоже вряд ли.

Сзади Ислень – давит мне своей многоводной мощью на затылок, тот онемел – не отвечает. Спереди – солнце...

О солнце речь, оно навстречь. Ярое.

Иду. Щурюсь – как мизюра. Как Вий ли, Господи помилуй: веки от света вилами хоть поднимай – колючий – так оцетинился с небес лучами; глаза совсем изнежились ли, обленились – экран компьютера давно уж не скоблили. И вижу поэтому радужно, но полуслепо – из-под ресниц. А рыбе как, с горечью думаю, мало того что в сырости всегда, порой и мутной, та и моргнуть даже не в воле – день и ночь, сутки напролёт то есть, пялся, во сне даже – ни век, у бедной, ни ресниц. Не то что я: только что щурился, как человек, теперь глаза, как рыба, выпул, могу и вовсе закатить их – ошалеть только от такой свободы – шалею. Иду. По суху. За тварь несовершенную, вынужденную всю свою жизнь мокнуть, пока кто не выловит и к пиву не завялит, переживаю. И о другом думаю – вразбивку. О чём-то важном, но – подспудно: я ж – как субъект – пирог слоёный. Сейчас – как взболтанный – бульон: что-то щемящее – посередине, что там, внизу, не разглядеть, а тут, вверху, воображаю, будто случилось со мной такое: будто какое-то, неопределимое в обычных единицах, время назад выстрелили меня из пушки крупного калибра с большим давлением в стволе, пульнули, забыл только, с какой позиции и где оно, это артиллерийское орудие, располагалось, – кого-то, теперь мне смутно-смутно представляется, мы с Димой вроде навестили, то ли родню его, то ли знакомых, людей радушных, хлебосольных, где и *маленько*... что-то покрашенное *под коньяк* – это засело в памяти, не потерялось; помню, какой была закуска: хлеб, маринованный чеснок и половинки сладких перцев, красных, жёлтых и зелёных, *казанки-лодочки*, загруженные доверху икрой стерляжьей или осетровой – чёрной. Помню ещё прощальные объятия – будто из нас кого-то *забирали на действительную*, а у других, у провожающих, от горя сердце обмирало. Ушли мы – те, проводившие, бы там не умерли – с тоски-то, – теперь печалюсь.

Ну и иду теперь такой вот, устремлённый, или несусь, кумулятивный, в ласково и приветливо сопротивляющемся моему напору упругом пространстве встречным воздухом лишь не посвистываю, по сторонам, как и положено снаряду, не оглядываюсь, весь в себе, пока не разорвался. Отслеживаю только, словно спутник-шпион или разведчик, при этом искоса – не боковым (тому мешает видеть *мушка*, заслонила), а нижним зрением, – как ладно и согласованно мелькают над дощатым тротуаром, отмеривая и отсылая шагами-метрами его мне за спину, носки моих, уже изрядно запылившихся тут, в городе, башмаков – мелькают регулярно, без запинки: откуда, не припомню, зато отчётливо осознаю, цепко держу в уме, куда теперь целенаправлен, – поэтому.

Цвета луковой шелухи – чтобы второпях не выпалить другое, хоть и более точное, сравнение, – злобно и основательно потрёпанный явно не комнатно-кухонной, а суровой боевой, походной жизнью и облитый ещё кем-то и зачем-то по спине фиолетовыми чернилами или слабо разведённой синькой зрелых лет кот лежит на аккуратном, словно специально для него

сложенной поленнице берёзовых, мелко колотых дров – кто-то его туда закинул будто – не упал же с самолёта. Дрыхнет. С тополя, с нижнего сука, что над самой поленницей, кричит на него что есть духу *большеголовая* и *большеротая* ворона – разбудить его, похоже, хочет – безрезультатно: словно сдох – не шевелится. Жив, не жив ли, может, проверяет – чтобы мёртвому ему в глаз клюнуть, – пакостница. От такого оглушительного и противного на редкость карканья и дохлый бы поднялся – как поленница ещё не рассыпается. Кот же и ухом не ведёт. Мухи на нём не сидят, роем не кружатся над ним – живой, значит, бродяга. И эта сволочь не завидует мне.

Прошёл я мимо, не оглядываюсь; слышу, ворона так и дурногласит – настырная. Не на меня ли перекинулась – мне в спину? С неё, охальницы, станет. Так же, как кот, и я не стану отвечать ей – пусть не надеется. Покричит, покричит, голова у неё закружится, и свалится она, стервятница, бывалому охотнику в лапы – и откритится – зря, что ли, тот искусно так представился... клювом в полено ли воткнётся – никто не выдернет.

Иду, раздумался вовсю и крепко нравлюсь сам себе в своих раздумьях.

На другой стороне улицы, вижу, на лавочке, словно прикрученные к ней снизу шурупами, около зелёных крашенных ворот, сидят плотным рядком, как матрёшки на лотке, три пёстро разодетые бабушки, не разговаривают – прохожего, меня то есть, взглядом встретили и провожают – камеры наблюдения – отслеживают. Этих, как камеры-то, не отключишь.

Прошёл я – не поздоровался с ними – не в Ялани.

Не заблудился: бывал тут не один раз – бессчётно, хоть и подвержен – в тайге, к счастью, нет, но в городе почти во всяком, если он, этот город крупнее Ялани и целиком, как на ладони, с любого места не проглядывается, пока свои пути не натопчу в нём, не обвыкну, не помогает мне ни брусонец, ни солнце, ни другой надёжный ориентир – топографическому кретинизму. И политическому, кстати, тоже. Но ничего, от этого, как от тоски, не умирают.

Шёл, шёл, думал. Теперь вот:

Приближаюсь, приближаюсь. И приблизился. Неразлетелся на осколки – взрыватель будто не сработал. Одно: дом нужный чуть не проскочил.

Частный. (В ряду прочих, не высовывается, не отступает, между двумя почти такими же; и там – напротив; и наискосок; стоят, полная их тут улица, как бобы в стручке, чем-то, конечно, друг от друга отличаются, но остальные – как не вижу; нет сейчас до них мне никакого дела.) *На одного хозяина.* Деревянный – со средней толщины, не обессоченного *химдымовцами-короедами* (не знаю, как правильно и назвать этих работников), выжимающими из сосен в лесу живицу, смолистого, как канифолью кое-где обсыпанного, кругляка. Пятистенок. С кирпичной, оштукатуренной и побелённой, подызбицей. Одноэтажный. Крытый жёстью, красной когда-то – крашенной, конечно, – ныне бурой; были облупины – замазаны пятнисто – чтобы ржа крышу насквозь не проела. С простыми – без резьбы, без завитушек – карнизом и наличниками – не старинный – это те-то – как игрушки. Давно уже его подробно рассмотрел – гостил в нём часто, теперь, приблизившись, подробности в уме лишь перебрал. Без перемен. Совпали вроде. Полгорода здесь подобных, пол-Елисейска. Как в *ранешней, зажиточной* деревне – тут, от России за Уралом, там, в европейской части, я таких не видел. Город-то, слава Богу, соразмерный, человеческий – не вавилонское нагромождение, не сегодняшнее спально-промышленное убожество, не *новорусское* увечье: выше собора нет строения – смиренный городишко... хотя когда-то и *гремел* – сам по себе и золотишком.

Окон в нём, в доме этом, много – глазастый, как пчела, как стрекоза ли; *глаза* сверкают, как слезятся, солнце и небо отражая; ну и меня они, когда приблизился, мне показали, скоропалительно – едва успел признать себя в мелькнувшем: куртка моя отобразилась – по ней; и на кухне – через тонкую, голубенькую, в белый крупный горошек, занавеску просвечивает, – и в прихожей солнечно; уютно – живым, русским духом, как говорят в Ялани, пахнет – совсем недавно печка скутана, похоже, – на расстоянии теплом от неё веет. И камелёк, что у меня

внутри, всю растопился, пылает – долго так будет, словно кто дрова в него, сидит там около, подкидывает. Чувствую. И отрезвиться уже хочется – всегда так, только выпью, только захмелею. Не в коня корм, что называется. Ну а вот надо... Одержимый. Чем бы уж добрым, то ведь... ладно, себя стегать не очень-то удобно, пусть уж другие постараются, я потерплю. *Будь снисходителен к себе, не засуждай себя. Господь пришёл не ради праведников...* – это я сам себе когда-то читаное повторил – вникаю. Тут же другой мне кто-то будто:

Не позазрите на мя, господия мои и братие, вем бо и аз свою худость и зазираем бываю совестию... – выслушал это.

Голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит...

А по ограде пробегал когда, не пробегал, а чуть не с боем прорывался, кобель – и знал, но вспомнил о котором, ворота за собой, как в западне, уже захлопнув, – было меня не растерзал. Чудом горе не случилось. Ладно, что он на привязи, и я, задумчивый, не знаю, как спроворился: к стенке откинулся молниеносно, по стенке тенью – и протиснулся – так не достал, лохматый ксенофоб – ещё и хуже бы назвал, да воздержусь, – не дотянулся, злобное чудовище. Мне уж, нос к носу-то, и вовсе показался. Баскервилей отдыхает. Зять, Володя, муж моей двоюродной сестры Наташи, прицепил его тут с таким умыслом, вымерив чуть не до микрона, – безопасно с улицы влетевшему и так же вот, как я, ворота за собой захлопнувшему опрометчиво, шанс предоставил – лишь возле стенки проскользнуть. Сторож. Не прозевал. За харч усердствует. А я такой ещё: *маленько...* – он уж, учуяв-то, и пуще разъярился. Пнул бы его, но, размечтался, пни попробуй: цепь натянул – как та и выдержала только, – навис передо мной на задних лапах, передними – мне воздух возле носа вентилирует – такой матёрый; пасть, оголтелый, распахнул – клыки и дёсны напоказ – ощерился, легонько клацнет, малоумный, челюстями – дырки готовы в визитёре – как от компостера. Но обошлось. Разум немного разве прояснился: где сейчас был и что со мной случилось только что, какого страху натерпелся, сразу-то вряд ли уж забуду.

По обычаю, уверенный, что в это время дня никто, скорей всего, мне не ответит, для порядка – звонка-то нет, так – постучался, открыл тут же дверь, переступил порог, вошёл в прихожую и объявляю громогласно: «Здрасте!» – как полундру, как побудку ли дневальный – привык за лето – мать глухая – вот и кричу везде уже непроизвольно, людей добрых пугаю – одним вроде и ладно, а другие косо поглядывают – как на больного или пьяного, напрочь лишённого благоразумия. А она, тётя Аня, на стуле, около стола, спиной к окнам – ноги, моталась по избе, намаяла, передохнуть, наверное, присела только что – лицом к двери уже обращена. «Добрый день, – говорю, – тётя Аня!» – «У-у-у... Я, – говорит, – слышу, что собака вроде лает, и ворота будто брякнули... Не показалось ли, думаю?» – «Лает, – говорю, – лает. Штаны с меня чуть не спустил. Не показалось... Брякнули». – «Да не-ет, – говорит тётя Аня. Поднялась, идёт ко мне навстречу, – он это так, впустую, не сердитый, – и моё как будто повторяет: – Сто-оруж... Уже извёлся на цепи-то, хоть погавкать». – «Сто-оруж, сторож, – говорю. – Погавкал». – «Олег, дорогой. Здравствуй... Вроде, по голосу-то, сразу не узнала», – говорит тётя Аня, со света яркого, склонила голову чуть вниз и набок – так ей меня, в дверном проёме тёмном, легче, пожалуй, разглядеть. «Тётя Аня», – говорю. «Поехал?» – говорит тётя Аня. «Поехал», – говорю. «Лето, и не заметили, как проскочило, – говорит тётя Аня, и говорит: – Слышу, как будто Буска расшумелся... Да проходи ты, проходи... Старая, глупая – держу-то у порога, будто рассыльного... совсем ума уж не осталось». – «Одна?» – спрашиваю. «А?» – говорит. «Одна, – повторяю громче, – дома-то?!» – «А-а», – говорит. «Глухая. Глуше ещё, – думаю, – чем мама». – «Совсем глухая, – говорит. И говорит: – Одна. Они, Наталья-то с Володей... кто-то остожье там разгородил, какой-то вредник... поехали наладить... а то коровы доберутся... – смотрит на меня, глаза – как отсветы от неба, и говорит: – А как Алёна там, моя сестрица?» – «Ну как, – говорю я и вздыхаю. – Как уж». – «Да-а, – говорит тётя Аня. – Чё спрашиваю... Хоть бы сюда, к нам переехала, дак не заставишь». – «Не-е, не заставишь», – говорю. «Да знаю, – говорит тётя Аня. И говорит: – Вон и Наталья всё тростит: давай возьмём

к себе тётю Алёну, мол. Дак где же... Известно. Не оставит она дом. Единолично жить привыкла». – «Да-а, – говорю. И говорю: – Я на минутку». – «Счас, счас... стою, бестолковая, – говорит, засуетившись, – на стол соберу. Ты проходи, садись на стул вон». – «Не-е, – говорю, – я только что...» Не слышит, пошла она, тётя Аня, гремит на кухне посудой. Сижу: день застыл там, на улице, ещё затылок онемевший ли... а с краю глаза – *мушка*... ну, думаю. И тётя Аня вышла с кухни, несёт – в одной руке тарелку с помидорами в сметане *от своей коровы*, в другой – вилку. «Хлеб на столе... Перекуси. Это пока, – говорит. – Чуть подкрепись. Потом уж и посерьёзней чем-нибудь... Рыба – недавно ею занялась, в духовку сунула, дак – не допрела... Омули». А я молчу, кричать уже устал. «Ты уж поешь, не обижай, – говорит тётя Аня. – Тебе чё, чаю, молока ли?» – «Чаю», – говорю, покорился. «Чай-то вот только что пила... ещё горячий». Ушла снова на кухню. Возвращается с бокалом. «Тётя Аня», – говорю. Не слышит. Села напротив, смотрит на меня. Молчит, молчит и говорит: «Как теперь будет там Алёна?... Одна в хоромах-то таких... Зима долгая, морозная – тоскливо. Ну, Николай тут будет ездить... хоть на субботу-воскресенье. Ешь, ешь, – говорит, – не в чужих людях, не стесняйся... Вот где беда-то... Старость подступила. В силах-то, ладно и одной... Случись вдруг чё, на помощь-то не позовёшь. Выть только – разве докричишься». – «Ем я, спасибо, тётя Аня». А тётя Аня – смотрит на меня, на фоне светлого окна, прищуренно – и спрашивает: «К Богу-то не пришёл?» А я – жую – в ответ киваю только: то ли иду, то ли пришёл уже – а что тут скажешь? «Иди, иди, родной, – говорит тётя Аня. – Только к попам не заворачивай – обманут... Скоро, скоро, совсем скоро. Близ дверей. Полынь-звезда уже упала. – И говорит: – Не добавляй больше... вижу». – «Нет, нет, – говорю. – Больше не буду. Это... душа-то не на месте». – «Душу на место этим не вернёшь. Не поддавайся, пусть и просит. На поводу у ней идти нельзя – на шею сядет... Сколько его, вина, зловредного, ни выпей, дело-то этим не поправишь, себе в ущерб только», – говорит тётя Аня. «Да нет, наверное, – говорю. – Не поправишь». И думаю: «Ох, а как горько-то, как горько...»

Засигналила на улице машина. Повернулся я к окну, но не разглядел за ним ничего, ушибленный резко солнцем. Поднялся из-за стола, благодарю тётю Аню. И говорю тут же: «Пора. За мной». – «Во... Соскочил уже. И не поел», – говорит тётя Аня – как испугалась. «Да я поел. Спасибо, тётя Аня». – «Кого там и поел, вот горе. Зашёл бы как-нибудь, побыл подольше, то всё набегом да набегом... погоди», – говорит. Ушла в другую *избу* – комнату. Вернулась. Протягивает ко мне зажатый кулачок – старенький, с искривлёнными пальцами, опухшими суставами, коричнево-пятнистый. Говорит: «Возьми». Догадываюсь я и говорю: «Нет, тётя Аня, нет!» – «Возьми, возьми, милый, не обижай. Дорогой, мало ли, и пригодятся. Нам-то тут дома... Не пей только больше, не добавляй. Не надо. Но как на тятю-то на нашего, на дедушку, похож». – «Родня всё же», – говорю. «Сильно сшибашь». – «Сшибаю». Взял деньги, держу их в руке – ладонь вспотела моментально. «Кто тебя повезёт до станции-то, в Милуково? Ты же на поезде?» – спрашивает тётя Аня. «На поезде. А вон, подъехали уже... Приятель», – говорю. «Кого из внуков, может, попросить?» – говорит тётя Аня – не слышала, что я сказал, не слышала, как просигналила машина. «Не надо, – говорю. И говорю: – Ну, до свиданья, тётя Аня». – «С Богом, родной», – говорит тётя Аня, не крестит меня. Переживаю. И икон в доме нет – жалко.

Выхожу я на крыльцо, мну в руках деньги, которые дала мне она, засовываю их в карман куртки и про себя произношу: «Научи, Господи, жить и умирать... что и труднее-то, не знаю».

«Не выпадут?... Не потеряй. Я провожу, а то кобель-то... – говорит тётя Аня. – Да и увидимся теперь когда уж?... И увидимся ли?... Господь знает, а как уж устроит...».

Прошли мы ограду. Мирно.

Пропустил меня, не взлаяв и даже не взглянув на меня теперь, Буска. Лежит возле своей будки, уткнулся мордой в свои лапы – паинька. Но вижу: ушки на макушке. Такой – как будто безобидный.

«Он это так дуркует от безделья, а так-то смирный», – говорит тётя Аня.

«Когда спит», – подумал я, но не сказал.

Вышли мы за ворота. Стоим. Тётя Аня лицом к солнцу, я – от.

«Ну, я пошёл».

«Ну, с Богом, милый... Ты уж пиши ей... раз хоть в месяц».

Держит меня за руки – прощается; в глаза глядит мне – молится: зрачки через меня – к небу.

«Конечно».

«Господи, храни и наставляй».

«Привет Наташе и Володе... Жаль, не застал».

«Летом уж, будем живы, приезжай... Как снег сойдёт, так все глаза там проглядит – так тебя ждёт-то».

«Конечно».

Земля в ноги вцепилась – не отпускает: она – магнит, а я – чугунный. Но пересилил – человек.

Повернулся. Пошёл. Как за слюдой глаза – под пеленою – солнце их атакует, вот и спрятались, – до рези. Иду. Чувствую – будто проваливаюсь во что-то зыбкое и рыхлое, как погружаюсь, – и ухватиться вроде не за что, только за воздух – и тот как будто разределся – почти бесплотный: чаще приходится вдыхать. Но – шаг за шагом – утверждаюсь. И передумать успеваю – одновременно всё, как Юлий Цезарь, – пока к машине продвигаюсь, – давно уж думанное-передуманное, и тут вот повод:

«Ох, как горько-то, как горько... Почему так получилось?» – Задаю этот вопрос, но ответа на него не получаю. – «И не с кем-то там, а с нами». – И опять так – рассуждаю-то – словно записываю; конспективно, после как будто разверну: – Родилась она, тётя моя родная, Анна Дмитриевна, красивая, помню, женщина, теперь красивая старуха, в год начала русской смуты, всепопирающего мятежа, за месяц до *октябрьского* уголовного переворота, в – том же, естественно, где мама, – *глухом* таёжном волостном селе Большая Белая, или Вельске, бывшем остроге, поставленном от набегавших с *Тюлькиной землицы* на первые русские прикемские поселения *злых нехристей, кыргызов*, – за тысячи вёрст от взболтанной революцией столицы. Времена не выбирают, – будто записал я это, скоренько подумал и продолжил: – Но, предоставь такую вдруг возможность, предложи ей, тёте Ане, поменять и место и время своего рождения, она, уверен я, не согласится. «Когда бы мы ни родились, и где, а искушения сносить придётся. За всё благодари Бога, Господа твоего, – как-то сказала она мне, когда мне было это напрочь неприемлемо и непонятно, мало того, и неприятно, казалось это мне тогда обычной человеческой серостью и жалкой, *деревенской*, забитостью (я же уж был тогда *продвинутый*: читал всю Хемингуэя; *битлов, кримов и роллингов* слушал; ну, лет шестнадцать-то тогда мне уже стукнуло), – и за хорошее, и за плохое, за всякую нечаянную радость и посланную тебе скорбь. Без креста к Христу не ходят. Это в другую сторону – как с горки; туда – один, оттуда – тысяча». Только потом уже, много позже, станет для меня *предметным и очевидным*, что это – *писал, писал*, остановился – шага четыре до машины, – задумался, двоечник, после подсмотрел будто в чужую тетрадку, к Ивану Александровичу Ильину, отличнику, и *дописал, списал*, вернее: «не пассивная слабость, не тупая покорность, а напряжённая активность духа». Ну вот. А когда отца её, *тятеньку*, раскулачили-расказачили и со всем его семейством отправили с обозом – и я как будто (*до ущелю сердца*) был в обозе этом – *из Сибири в Сибирь*, было ей, значит, лет двенадцать, а когда в том же составе выслали их уже за Полярный круг Игарку строить – тринадцать. После войны, за фронтовые заслуги братьев и отцов, Москву отстоявших, разрешили великодушно желающим вернуться на родину. Никто из наших не остался там – в Игарке: *земля и наша вроде, но не родина*. Вернулась тётя Аня. Вышла вскоре замуж за Плисовского Владимира Степановича, бывшего фронтовика, а в ту пору молодого председателя

маленького колхоза, родила впоследствии шестерых детей – трёх мальчиков и трёх девочек. Сыновья её, мои двоюродные братья, Виктор, Василий и Иван умрут один за другим, но в зрелом уже возрасте – *от разного*. Пережила и это тётя Аня. Как? Не знаю. Можно догадаться. Но не видел, чтобы плакала, – тайком-то. Дочери же, сёстры мои, все, слава Богу, живы, берегут, как могут, свою мать, хвала и честь им. Одна, Наталья, живёт с ней, Галя и Валя – поблизости. Владимир Степанович председательствовал, а тётя Аня воспитывала детей. На работу её, как врага народа и как *богомолку*, не принимали. В сорок восьмом году, через три года после окончания войны, с пятью детьми на руках, выслали её в Хабаровский край *за тунеядство*. Мужу её было предложено остаться – вот изуверство, так уж изуверство – изобретательны на это бесы. Но Владимир Степанович жену и детей не бросил, а, отказавшись от председательства, поехал за семьёй. В пятьдесят шестом году, после смерти *главного Мучителя*, отбыв на чужбине назначенный срок, они возвратились домой, но обосновались уже не в деревне, а в городе – в Елисейске.

Машина, дверь – до ручки только дотянуться. А я – дописываю будто, и будто так – не успеваю:

Из православной семьи – казаки-крестьяне, русские из русских, – с матерью, Анастасией Амвросиевной, и с бабушкой, *баушкой Марфой*, в детстве и в церковь православную ходила, *Христорождественскую*, – стала вдруг тётя Аня пятидесятницей. Не в один день, конечно. И не только что. А там ещё, в ссылке, в Игарке, или после уже, на хабаровском лесоповале, – сама она не рассказывала, а я не спрашивал, не лез ей в душу. И не встретился тётю Ане, к великому моему сожалению, в её мытарствах свой Стрельцов Пётр Андреевич, отец Арсений, старец, иеромонах, заключённый номер 18 376, воспитанник оптинских старцев отца Анатолия и отца Нектария, чтобы утвердить её в прежней, *родовой-то*, вере, а попался ей на жизненном пути какой-то агент злополучного мистера Парэма.

Итак, если скажут вам: «вот, Он в пустыне», – не выходите; «вот, Он в потайных комнатах», – не верьте...

Без крестного знамения, без предстояния перед иконой. Без апостольской благодатной преемственности, без силы святых таинств. Без дорогих для сердца русского Святых. Без благообразного православного *батюшки*.

И так печально представлять мне и *дописывать*, что будто села она, моя родная тётя Аня, отделившись от матери своей и *баушки* Марфы, моей прабабушки, и от меня в какой-то степени, в ладью и поплыла совсем по другой, неведомой нам, речке, не сливающейся с Пельшмой, Учмой, Выгой, Чуругой, Обнорой, Елдой, Сянжемой, Андогой, Коряжемой, Ковдой, Куштой, Авнегой, Пешношой, Пёсьей Деньгой, не проплывая под горой Сторожей, возле городов Саров, Свияжск, около Соловецкого, Красного и Анзерского островов, по Радонежским и Комельским дремучим лесам, через Троице-Сергиеву Лавру и Оптину Пустынь. Так уж печально.

Но: признаёт ведь тётя Аня Пресвятую Троицу, наличие в человеке первородного греха, божество Спасителя и Его искупительную жертву, любит и Господа, и ближнего своего всей душой, всем разумением своим и всею крепостью – уверен, да и вижу, – носит тяготы других и терпелива к скорбям – знаю, – а тем закон Христов и исполняет, так что не зря ли я печалюсь? Разве у Господа-то меньше милосердия, чем у меня? Если и *власы* уж *изочтены*. Утешусь этим.

Подумал так, тут же подумал и обратное. Никак в этом не определяюсь, беда-то.

Сел я в машину, оглядываюсь на дом, который только что покинул, вижу – в воротах тётя Аня – глядит на нас из-под ладони – старенькая, мамы младше только на два года; прямая – не сгорбленная. Рукой нам: с Богом, дескать, с Богом. Крестным знамением не осеняет. Я её – мысленно.

Дверцу захлопнул.

Я – на заднем сиденье. Сижу. Молчу. Дима – на переднем, но пассажирском. Спрашивает, ко мне не оборачиваясь:

– Всё?

– Всё, – говорю.

– Попроведовал?

– Проведал.

– Ну всё, так всё... Уец, поехали.

За рулём племянник Димы – Женька. Лет восемнадцати. Ещё и не служивший. Смирный. Послушный. «А куда денется, – говорит про него Дима. – Зарплата – от меня: зависит, как щенок от мамы».

Поехали.

Не оборачиваюсь.

Смотрю вперёд – между двумя затылками – племянника и дяди; мой – тот опять как будто приотстал; догонит, может.

Молчим.

Спрашиваю после:

– А почему Уец?.. Уец, уец... ни от кого не слышал, только от тебя. Что за уец?

– Надькин сын, сестры. Племянник, – говорит Дима. – Бабушка Фиста так всё говорила. – Уец – племянник. Сам не знаю, по-каковски?.. Взял вот... Я – поддал-то – дальше не могу: те, милюковские, гаишники ещё не куплены мной с потрохами, – смеётся.

– Понятно, – говорю.

– Понятно... На выезде магазинчик будет... винный, продуктовый, – говорит Дима Женьке. – Притормози там.

Едем.

С двух сторон в глазах теперь *мушки* – похожие – как сёстры; слева и справа ничего теперь не вижу из-за них – так заслонили... Перед собой только – как из танка.

И на него, на город, я не обернулся.

Но цистерновское вспомнил:

«Здесь моя вера, здесь мой род, здесь след моих отцов; я не могу выговорить, какой восторг охватывает моё сердце и моё чувство...»

* * *

Как ни длился, вспоминаю, этот день, будто растягивал его кто, как экспандер, вижу теперь, всё же закончился – для меня в этом году, дай Бог не в жизни, на моей *тихой* родине, в бывшей *Макутской волости*, последний, к сожалению: только что солнце закатилось, упало в *Самоедию* – если смотреть отсюда, где стоим мы, – под Ялань, косым, но выверенным Творцом всякого движения падением, озолотив вокруг Ялани венец обеззвученного предвечерием густого ельника, обогрив угоры и поляны, богоозарив – в честь неизбывного престола – стены обезглавленной и осквернённой когда-то неустанными строителями обезбоженного ими мира церкви *Сретенья Господня*, запалив и оплавляя под самым куполом небесным свечи поднимающегося из огородов дыма от собранной в кучи и сторающей там и там картофельной ботвы, бархатно вычернив *глазницы* брошенных, полуразвалившихся домов и плеснув будто, как живой водой, на прощание в подслеповатые *глаза* ещё жилых клюквенным морсом... и тому, новому, большому, что на взлобке: *хоромине*... Долго теперь, мол, не увидимся, до встречи. Нависший охраняюще с востока над Яланью Камень, с остывающею на нём за день накипевшей пеной лиственниц и сосен, как раз сейчас, в эти минуты, на фоне чистого, аквамаринового неба, принял малиновый окрас, скоро угаснет, потускнеет, позже, поднимая и раскручивая над собой, если всё в морозе не скроется, бесщётно-звёздный полог, скромно погрузится во

тму, сольётся с ней: день на нём длиннее, чем в Ялани, – и встречает солнце раньше, и прощается с ним позже – Камень. Ночь в село через него вползает – неизменно, вот уже без малого четыре века, с самой первой, проведённой там, на *пустоплесье*, приплывшими на стругах по Кемь или пришедшими водораздельным волоком от предыдущим летом лишь поставленного Маковского острожка казаками-первопроходцами – может быть, и бессонно: опасались местных, сидящих по ручьям и речкам, воркотню и прозрачно втекающим поблизости в Кемь, и правящих о лещадки самородные и без того острующие ножи намацких остояков или *заворовавших* и забредших в *воровстве* из-за Ислени *злых тонгусов*. Себя меж ними, казаками, в стане представляю – не представляется: Ялань, какая она есть теперь – состарившаяся, *разорённая*, мешает, ещё ж и... *мушки*... и сам-то я ещё: *маленько*... Сердце встревожил только – ульем загудело. Но не кирпич – уймётся, успокоится – на то оно и сердце.

На перроне мы. Не одни. Малолюдно – хоть и не как в лесу, но – как в Ялани. Группами – как для игры какой-то будто разделились – так мне кажется. Все говорят – как шепчутся – будто таятся. Это от предвечерия – так, думаю – людей оно смущает. И только мы – ко всеобщему сведению – ничего ни от кого не скрываем. Нам и скрывать, конечно, нечего – простые, как войлок. Я и Дима. Женька – тот в рот воды будто набрал – безмолвный, как его дядя выражается: рядом со старшими не вякает – похвально.

Уже и поезд подогнался. Сам по себе будто – по виду-то его – такое впечатление. Попыхтел, полязгал, погудел распорядительно. Туда-сюда, с пути на путь, вдоль молчаливых, солидных *товарняков*, порожних и гружённых *лесом*, *круглым*, покатался, маневрируя. И замер – около вокзала. Как ребёнок – играл, играл – да и сморился. Вскоре и объявили: номер такой, маршрут такой и через столько, дескать, отправление. Далеко, пожалуй, слышно. Лысый, с пшеничными усами, машинист, или помощник машиниста, разбери их, в высокое окно кабины, как из ходиков кукушка, высунулся, облокотился по-хозяйски – народ разглядывает, кого везти ему и тех, кто провожает тех, кого ему везти, – любознательный; не курит. Закоптелый, как печная вьюшка, локомотив, старенькие, но чистенькие почему-то – вагон общий, вагон плацкартный, ничем один от другого не отличающиеся, ни снутри и ни снаружи, только ценою на билеты, и купейный – весь и поезд. С горки, в дороге-то, разгонится – и сам не свой от радости, развеселится – так кажется, в горку едва-едва уже взберётся, хоть, озабоченный, выскакивай да помогай ему, подталкивай. Стоит у каждого столба, бурундуков и зайцев пропускает, с каждой коровой разговаривает – такая про него молва сложилась. Но *свой* он тут, незаменимый. Поголосуй среди тайги – он, несомненно, остановится. Так от деревни до деревни – на юг, в *землицу Тюлькину* – десять часов – не спать-то если, изведёшься.

Стою. Думаю: как бы нуждающимся всем помочь, не за большим, хотя бы моим близким, не знаю уж и чем, в тяжкий для них момент побыть бы с каждым, поговорить, послушать, поприсутствовать... стакан воды подать, и то бы дело? – ни средств, ни времени – жизнь так сложилась – суета. *Заела* – так, точнее и не скажешь, – как вошь тифозная. Везде сразу, мыслью лишь разве, не окажешься. А жаль. Стою. Сокрушаюсь – что не исполнимо. Со всех сторон – как обложило – и не вырваться. Потом: гордыня – думаю – она, изворотливая. Молиться только. Если и волос с головы... Но так непросто: ведь *человек*, известно, *звучит гордо* – погни тут шею, поклонись, высокоумый, – трудно. И вспомнил: «...живёшь не так и не там, как и где бы хотелось, а где и как приводит непостижимый Промысл Божий», – Святитель наш, Епископ Кавказский, Игнатий Брянчанинов к сестре своей родной Елизавете так в своё время написал – и сохранилось. Прочитал когда-то это я, давно, теперь вот вспомнил. Память у меня такая – сама по себе живёт, особенно тогда, когда *маленько* я, – вовсе уж как чужая, мне не подвластная.

И Дима с Женькой – те стоят. Рядом. Рослые. Только один *в комплекции*, другой – тощий: *каши мало в детстве ел* – про второго первый говорит так. Тоже о чём-то, поди, думают. Они-

то, ладно, никого пока из своих, немощных, горевать в одиночестве надолго не оставили. В иных тревогах.

Собака, *бомжиха*, пожилая, с вислыми ушами и хвостом, с беспристрастным, как у судьи, взглядом, с сиреневыми проплешинами по спине, серой, как у волка, *поношенной*, рубашки, привстав на задние лапы, с головой в урну с мусором сунулась, пакет полиэтиленовый оттуда извлекла и подалась с ним в зубах, как со щенком, от нас подальше, но неспешно; повалилась в траву под акацией, пакет меж лап под мордой положила, но пока его не трогает – то ли кого-то поджидает, с кем ей надо будет честно – по любви, по иерархии ли – поделиться, то ли просто с удовольствием в пакет забраться не торопится – толк в своей бродячей жизни знает.

– Погода завтра начнёт портиться, – говорит Дима. Без интонации – как об обыденном, о безразличном будто – по-крестьянски. Смотрел он только что сквозь клуб выпущенного им из себя табачного дыма на пылающий горизонт, пристально и с грустью, после просеменил глазами весело по мне, теперь уже по сторонам блуждает ими. – Похоже, завтра и испортится. Как пить дать, – говорит. И говорит: – Девки вон с тобой поедут. Хорошенькие. Всё, что положено, при них. Фигуристые. Как рюмки. Одна из них – как контрабас – дак та особенно... с мешком зелёным – с рюкзачишком...

– Тлеешь в похотях прелестных.

– Ну уж. Я – по-отцовски... Штанишки нравятся на них – смешные... Как пионерки. Может, пионервожатый к себе возьмут?

– Напросись.

– Да и мордахи, глянь-ка, милые. Сколько их, долгоногих, развелось – вроде и радует, и беспокоит... В наше время таких не было. Или в башке у нас опилки были, а через них кого увидишь... Ещё одежда много значит... Кольца в пупах – привязывать кого-то... или – к кому-то?.. И чем их кормят? От молока да картошки такими не бывают... Куда едут, зачем едут? Оставались бы... Женька ещё вон не женатый...

– Ага, о Женьке озаботился.

– О ком ещё... Поедешь, к ним не приставай, а то... я знаю.

– По себе, – говорю, – не суди.

– А ты другой, ты марсиянин?.. Эх, до Исленьска, что ли, прокатиться?.. – Сигарету докурил Дима, окурочек метко в урну бросил, другую достал, не вынимая из кармана пачки, помял её, сигарету, в пальцах, от спички прикуривает – ветра нет – не заслоняет. Коробок спичечный в руке всё время держит – чтобы, хлопая по всем карманам, не искать его каждый раз долго. – С уборочной... дожди направятся – прибьют, снег ли повалит... не успею. А-а... Не до жиру, быть бы живу. Верно?.. Есть листвяжок на Подъяланке – продам – от покупателей пока отобою нет... И сосняжок на Богоданном. Пусть вырубают – нарастёт...

– Осинник, – говорю.

– Ну, чё, сначала и осинник – всегда так... Людей-то надо чем-то выручить – живут без денег... Я про колхозников своих, – говорит Дима. – Застрелят они меня... или утопят... И никто не узнает, где могилка моя... Точно – испортится погода.

– Похоже, – говорю, глядя как замороженный в окна с *фирменными*, раздвинутыми на края занавесками будто объятого изнутри пламенем вспыхнувшего там вдруг пожара, а снаружи окутываемого быстро наступающими нежными сумерками *моего* вагона с открытыми, прибранными купейными клетками, в одной из которых как-то придётся нынче ночевать мне. И думаю, вспомнив почему-то, Царство Небесное, про Диминого сына: «Вот – как название – “Предтеча”... Кто раньше в вечность переступит, и как от этого зависим мы, часа своего не знающие, но пока ещё здесь пребывающие неисповедимо – в изменчивом и временном... У Димы – сын, в четырнадцать годков, а у меня – отец, в полных восемьдесят пять... Прах их, того и другого, давно уже покрыт землёю... И между нами, живыми и мёртвыми, смерть – непроходимый ров, перегородка или пустота – преодолеть которую способна лишь молитва...

Бывает так – как будто слышишь». Это думаю, а через сердце, словно разрывная пуля, про-
рвалось вдруг: *Спиду к сыну моему сетуя во ад* – и опять, откуда и какой снайпер пулю эту
выпустил в меня, не понимаю. «Вот ведь, – подумал я. – Вокруг, вовне и ничего такого вроде
– подозрительного».

– Да чё похоже-то, испортится, – говорит Дима. – Стопроцентно. Обещаю. И на небо
не заглядывай, мой метеоцентр – мои суставы, всё сообщили уж – не ошибаются. Ты нет,
конечно, – птица перелётная, а мы-то с Женькой тут увидим, ещё и сутки не пройдут, может,
уже сегодня ночью – в тёплые края на зиму не отлетаем... Турецкий берег нам не нужен.

– Да не особенно и тёплые...

– Могу поспорить, после проставишься, когда назад приедешь... что изменится...

– Не буду спорить.

– На ящик водки. Проиграешь. Дождь-то, ладно, пусть немножко и помочит, давно не
было, если на месяц не зарядит... не подопрёшь... снег бы сразу не посыпал – очумеешь. Такое
заревое, и к бабке не ходи, – не на тепло и не на ведро... Вроде на севере уж выпал. Где-то, в
Игарке, или выше... Краем уха чё-то слышал, то ли по радио, то ли – откуда... Табак трещит
– курю – примета верная – тоже никогда ещё пока не обманывала: на что кивнула, к тому и
готовься, – не государственные синоптики – зря только деньги получают... Мне посулили –
сводку дали на всю осень: сухо чуть не до Покрова – хорошо бы, если так. Никак не верю.
Оно – и явно – высушит, так думаю, и скоро... Уж разойдутся, так уж разойдутся... В Питер
хорошую от нас увозишь. А та ничё... как контрабас-то.

– Туда попробуй привези – своя не пустит.

– Сырость?

– Да широта-то та же самая.

– Раз на костях да на болоте... Со школьной парты ещё помню. *Все мы учились понемногу,
чему-нибудь и как-нибудь*... Федю, историка, помнишь?

– Помню.

– Поэмы нам свои читал всё. Вам, поди, тоже... Служил-то где он?.. Про Корею... Вот
уж где чудик, так уж чудик. Как заведёт – на полурока: Бу-бу, бу-бу, бу-бу, бу-бу – складно...
А нам хорошо: не спрашивает – и ладно. Тихонечко и в карты можно было перекинуться...
на папиросы. Думал, он – русский, он – татарин. Фарид. А то всё – *Фёдор Николаевич. Или –
Фарух?*.. Узнал, когда его в могилу посадили... Тут, в Милюково, на татарском... Муса Джа-
лиль. И как ты там, Олег, живёшь? Не представляю, – отправил Дима в небо табачный дым,
смотрит на меня весело и продолжает: – Я один раз на юг, в Сочи, съездил – никуда больше не
тянет, мне заплати ещё, я не поеду. У нас тут вон... оно – и дома... Опять на Таху не схожу,
не попаду – занепогодит... А ни послать ли Женьку нам за водкой?.. Уец, давай-ка, ноги моло-
дые... Время есть ещё, успеем. На дорожку надо выпить.

– Не успеем... Мы уже пили, – говорю.

– Ну, тоже вспомнил! – говорит Дима. – Когда это было... И на какую пили-то – на ту
ещё дорожку... Мы ж добрались – благополучно. Теперь на эту... Тебе и нам ещё тут ехать...

– И на дорожку пили и в дорожке.

Уец стоит около. Помалкивает иронично, шуруется чему-то – как хитрый. *За рулём*: трез-
вый – поэтому. Но кажется, что – пьяный, кажется так: пьянее даже нас.

Оба рыжие – и дядя, и племянник – не по природе – от заката. Так-то – русые – как пакля.
И зрачки у них – в охре – заря осыпала, опудрила, что распылалась над Яланью. Свои зрачки
– чувствую – как два гвоздя: затылок ими пробую приколотить... то разгулялся.

Тоска, тоска – такая: Господи!.. Силюсь, силюсь – как Андрей Юродивый... Не получа-
ется. Конечно. Кто Андрей и кто я.

Неслышно, как к глухим, подступил к нам почти вплотную бич – так приближаются,
чтобы обнять или зарезать. Ниоткуда будто появился. Как мистер Уинстон и его пёс Казак

– *бомжиха-то*, материализовавшаяся тут, на перроне, около нас прежде своего хозяина, – с *хроно-синкластического инфундибулума*. С запрокинутой, как у нюхающего ветер зверя, вверх ноздрями пипкой носа и с провалившейся навсегда в череп переносицей на битом-перебитом, мятом-перемятом, не жёваном только, но светлом и спокойном, как выдыхающаяся водка в поминальном стакане, лице. В парусиновой бейсболке с розовым целлулоидным козырьком, надвинутым на затылок. Под бейсболкой кудри – как у Александра Блока, поэта-декадента. Костюм – как от Армани, модельера. Без галстука – стильно. Под пиджаком зелёная, как национальный флаг Ливии, футболка. В растоптанных, заляпанных оранжевой краской зимних полусапогах с расстёгнутыми до упора, сломанными скорей всего, молниями. Без носков. Пахнет – как цветок. Резко – как щёлочь. Чем-то ещё – неузнаваемо. Сунулся *мистер Уинстон* в ту же урну, которую только что обшарила *его собака*, как опытный шпион за секретным контейнером – будто обыденно, несуетливо, ничего там подходящего для себя, наверное, не обнаружил, но на лице его ни тени огорчения от неудачи – как в бесконечности – и не убавилось, и не прибавилось. Выпрямился. Поджарый – как русская псовая борзая. Смотрит – мимо и небрито – куда-то – аж завидно. Сложил грязные, заскорузлые, с ярко-синими, как у негра, ногтями, пальцы *викторией*, маячит, как немой, Диме: закурить, дескать, не будет? – а нас с Женькой вниманием не удостоивает – мы для него не существуем будто. Угостил его Дима сигаретой. Заложил *космический бродяга* сигарету себе за ухо – под пегие *блоковские* локоны. Показал после бровями на стоящую рядом с урной пивную бутылку – можно, мол.

– Бери, бери... санитар, – говорит ему великодушно Дима. – Тут, поискать-то, их полно, наверное... ещё в траве вон.

Подобрал бич бутылку, остававшееся в ней на дне пиво, вывалив язык на подбородок, выплеснул себе в свободный от зубов рот и, словно свежее яйцо, устроил бережно посудину в кошёлку, пипкой носа протыкая, а ноздрями сипло втягивая в глубину свою сопротивляющийся вяло тёплый ещё воздух, побрёл прочь, как-то сразу ссутулившись и обвиснув, но громко шаркая теперь обуткой по асфальту – чуть-чуть, кажется, та с ног его не сваливается, хлябает – как-то удерживает – наловчился, – пересидеть где-нибудь какое-то время до обратной материализации в каком-нибудь другом пункте Вселенной? – а почему бы нет, вполне возможно; и мне бы так – и тут, и там-то... без поездов, без самолётов. Стою, завидую. *Завидуишь*.

– А что, в общий или хотя бы в плацкартный не было билетов? – спрашиваю у Димы, проводив взглядом поникшего и сторбленного – от непривычной для него здесь, на земле, быть может, гравитации – *мистера Уинстона* за угол какого-то давно, похоже, до *Перестройки* ещё, начатого, но так и не достроенного белокирпичного сооружения: я в машине, помню, оставался, за билетом ходил Дима.

– А в купе, чё, гордый, не доедешь?.. Так же, – говорит Дима. – В одну сторону, по тем же рельсам... *Шестьсот-весёлый* – одинаково, другой тут не ходит, этот только – *наш*. Часто курсировал на нём когда-то – еженедельно, ещё на праздники, почти на каждый – было же время. Сейчас меня заставишь разве... Хотя, убавить бы забот... Живот и тут не помешает.

– Деньги...

– Отдашь, когда разбогатеешь. Наври сначала про меня, но – положительно – условие, строчи после хоть про бабушку, хоть про дедушку всех русских революций и переворотов, хоть про Ивана-царевича и Серого волка, книжку подпишешь мне – и мы в расчёте... Подружка в Гачинске жила, вот это де-евка, ты бы посмотрел, тебе бы я не показал, теперь под Минском где-то – за границей. Было на что в упор и издали уставиться – как на пожар – не оторвёшься... Куча детей уже, наверное... Мечтала. Так ли молола языком – они на это мастерицы: и чем уж только, лишь бы заженить, сладкоголосые, не завлекут – сирены... Уши развесил, просто-дырый, воском их сразу не заткнул, тут тебе вскоре Скилла и Харибда... А мне тогда – какие дети! – сам понимаешь: секс важнее был, чем дети, секс здесь и сейчас, – говорит Дима, – а

дети – там, как ангелы, в необозримом. Это теперь: дети – как долг, а секс – как обязательство... Забудь про деньги.

– Нет у нас секса, – говорю.

– Нет. Согласен, – говорит Дима. – Как и ангелов – не видел. Мы обязательства не любим, у нас хоть плохонькая, но любовь, или из ненависти – тоже... Секс – это спорт – для олимпийцев – те пусть потеют... Правда, и сексу-то у нас с ней было – год к ней, пока в армию не забрали, ездил, а снять с себя мне разрешила только тапочки – всё остальное, дескать, после свадьбы. А служил когда, всем ребятам сны снились нормальные, если не ввали, а я всё тапочки во сне снимал с подружки – на этом дело и кончалось – какая служба... Подъём крикнут, слетишь с койки, как очумелый, одеваешься, а *снятый* тапочек в руке – мешает... пока совсем уж не проснёшься. Так, с этим тапочком, и дембельнулся. Танька меня уже лишила девственности, так в оборот взяла – не пикнул... За лётчика выскочила, – говорит Дима. И уточняет: – За военного. Она – подружка. Танька – за меня. У них там полк стоял... Стоит, наверное, куда он делся, если китайцам самолёты не продали... вместе со взлётной полосой. Пока я честно барабанил срочную. Оно и правильно: кто лётчик, и кто я: тот – полетал по небу, полетал орлом, приземлился и – до следующего полёта сидит рядом, в глазки тебе, любимой и единственной, из-под пропеллера на фуражке заглядывает, в ушко про штопор, бочку и про мёртвую петлю нащёптывает жарко, за ручку, как за штурвал, держит... одной рукой, другой – бомбит грамотно точечными ударами по эрогенным зонам, а я где – Ди-има, Ди-има?! – нету Димы, далеко Дима – на Чукотке, чумазый, мучаясь по ночам с твоими тапочками, готовясь с ними стать отцом-героем, в автобате ляжку тянет, дальние рубежи Родины укрепляет, – смеётся Дима, умело отбиваясь от заката золотым зубом. И продолжает: – В пятницу – к ней, туда, а к понедельнику – обратно, в поезде только отсыпался... в общем вагоне, правда, до купейного не добирался – казалось дорого...

– Ну вот...

– Ну вот... Баран – *избегался* – обычно, а я – баушка Фиста так и говорила: паринь, суусем изъездился, ни рожи, мол, ни кожи – как бытто колышек обглоданный. Дело известное. Ох, ёлки-палки. До сих пор, как вспомню, так будто спирту неразведённого поллитру залпом выпью... Вот уж где жёншино-то было... И тут, и тут – миниатюрная, но это... Что-то почтовый-то не подцепили?

– Дорого, – говорю. – Купе. Пересидеть мне где, какая разница, в каком... и в общем можно. Ночь-то – не сутки.

– Писем не пишешь матери, и нечего возить вон... Я говорю: почтового не вижу... На этом не выгадаешь, – говорит Дима. – В постель завалишься... Пересидеть... Тебе и разница. По-путнему хоть отдохнёшь. Там же готово всё – постелено. Нет, сказали. Есть, конечно. Им дорогие продать надо – для мамы, мама – государство, сами-то – чё они имеют с этого?.. Не знаю... Билеты левые, фальшивые? – так это вряд ли – теперь же всё через компьютер... На *контрабасе* поиграешь... В одном купе окажетесь вдруг – может... Она такая – для отдельного... С тобой мне, что ли, прокатиться?

Смотрю я на Диму, думаю, он, как и я, *маленько*... больше ли? А – как *огурчик*. Я же – *маленько*... и *маленько*.

– По старой борозде, – говорит Дима. Сказал, достал после сигарету. Курит.

– Скоро от курева зелёным станешь.

– Зелёным – ладно – Таньке спокойней будет на меня глядеть... Врачи в зелёных же халатах.

Пришагал вразвалочку к урне – всех к ней, единственной на перроне, всю местную фауну, на мёд будто, притягивает – голубь, *сизарь* – грудь на заре его переливается пунцово-фиолетово, идёт, налево и направо франтом поворачивается, как кавалер перед дамами раскланива-

ется, и всё поклёвывает что-то, от каждого нашего движения крыльями резко взмахивает, но не взлетает – кушать хочется.

И воробей, упав с неба камнем, присоседился к голубю, тоже поклёвывает что-то – и тоже, видно, опасается – глазом-дробиной скорострельно изучает нас.

– Мунгалову, Андрюхе, позвони. А то забудешь, – говорю. – Предупреди. Кто меня встретит?

– Милиция, – говорит Дима. – Тыпу-тыпу-тыпу, не приведи Господи... Чур нас от них, а их от нас, не к ночи будь упомянуты... Да не забуду, ты не бойся, я из ума ещё не выжил... Смотри, а небо-то какое... Как на Канарах.

– Я не боюсь.

– А ты куда-то глядя на ночь... Добрые люди по ночам, Олег Николаевич, не шляют. Сейчас нашли бы куда съездить. Водитель есть – и увезёт, и привезёт – доставит в целости-сохранности... Я на Канарах, правда, не бывал. А ты?.. Ты всё в Ялань... И как ты там живёшь – без бабы?.. Целое лето... С ума сойти, тут только тапочком не обойдёшься... Вряд ли уже когда и побываю. Но небо-то везде, наверное, одно и то же. Чё нам Канары, у нас на пасеке не хуже. А то поехали?.. Ты не заботься, – говорит Дима. – Не переживай. Тебя проводим, к Ляпину заеду... Директор молокозавода... Номенклатура высшей пробы – такого пуза ты не видел – топор об него можно поправлять... Здесь по пути. А от него и позвоню... Мне за сметану много задолжал он. Денег у красного директора, а по совместительству буржуя, море, а за рубль бабушку родную порешить может. Держит ротвеллера – того вот любит. И ест с ним с одной миски. В постель к себе только не кладёт – ещё откусит... Я, правда, свечку не держал...

– По городскому не найдёшь, – говорю, – звони на сотовый.

– Как скажешь, – говорит Дима. И говорит: – Да не забуду, не забуду. Андрюха – сволочь предпоследняя – ещё найди его попробуй, но постараюсь.

– Да уж найди, – говорю. – Постарайся. Поезд мой с Исленьска ровно через двое суток. Ждать столько на вокзале – усохнешь.

– К Нинке пойдёшь, перекантуешься... Размочит.

– Лучше уж на вокзале.

– Дело твоё. А я бы – к Нинке... И коньячку тяпну у Ляпина – не удавится... Только сначала дозвонюсь... А ты не хочешь?

– Не хочу.

– А я бы тяпнул, – говорит Дима. – Подружку с Гачинска вспомнил, и, как мальчишка, растревожился. Ещё и спирту попрошу. Неразведённого... Времени сколько?.. А?! Ох, ё-моё, а где часы-то?! – Уставился Дима с изумлением на голое своё запястье, со светлой поперечной полосой на запястье – ей, полоске этой, будто удивился. Перевёл взгляд на меня – и я его не меньше будто поразил – часы-то я украл как будто. И говорит: – Смотрел же только что, ведь были!.. Он – бич! – зараза, скоммуниздил!.. Тёрся, тёрся, вот... умелец! Сигарету-то когда ему протягивал... И ты проверь свои карманы... Уец... А-а, у тебя ни денег, ни часов – ещё счастливый... Ох, паразит!.. Каких уж вроде где ни навидался, а тут, стою, как ротозей, не понял, – говорит Дима. Смеётся. – Продаст ведь, сволочь... за бутылку – прогадает, если за две ещё, то – ладно... Во, марсианин. И ему, инопланетному, выпить хочется, хоть и без печени уже, без почек – по роже видно, по прямой, как через шланг, протекает... Как нам теперь без времени-то с Женькой?

Полез я в карман, в один, в другой сунулся – и успокоился: всё на месте – паспорт, ключи, водительское удостоверение, книжка телефонная, билет на поезд, ну и деньги – и мои, и те, что тётя Аня мне дала *в дорогу*.

– Не спёр?

– Не спёр.

– Ну, слава Богу... Да к вам-то он не приближался. Это со мной – маленько не обнялся. Хотя такой и за два метра выудит – настроил цапки, а с виду – попа вроде круглая... Скажу Ляпину – всех тут на уши поставит, всю местную шелупень вздыбит, перевернёт всё Милуково... вот уж не город-не деревня... Отышут... Пока предание свежо... Ох, ты! Орехи-то забыли! – говорит Дима. – Сбегай, Женька, принеси... Красный мешок полиэтиленовый, там, на полу, у заднего сиденья... слева. А не отыщутся, шут с ними – уже давно их собирался поменять... теперь, наверное, и поменяю... На три минуты в сутки отставали... И не заметил, как... Ловкач. Ладно, чё злюсь, пусть пользуется – хоть на бутылку заработал – день для него прошёл не зря.

Ушёл Женька. Вернулся с орехами.

– Принёс? – спрашивает у племянника Дима.

Молчит Женька.

– Принёс, – отвечаю за него я.

– Вот, – говорит Женька, кивая на мешок.

– Вижу, – говорит Дима.

Уложил я мешок в свой рюкзак – поместился.

– Ну, – говорит Дима. – Пора, наверное, тебе залазить. Уец, рюкзак... Пойдём, проводим.

– Да сам я, – говорю.

– Ещё наносишься, успеешь, – говорит Дима.

Подхватил Женька рюкзак. Пошли мы. Тут, рядом.

Подступили.

– Добрый вечер.

– Добрый вечер.

– Ты, – говорит Дима проводнице, разглядывающей подробно мои паспорт и билет на поезд, после меня – ещё внимательней – как стосковалась, – его, поедете, не обижай, это мой друг, – говорит Дима. – Наш... из Ялани. Нос, видишь, русский – не кавказец... А мы зайдём, посмотрим, как устроится, и выйдем... Ага, красавица?

– Тока недолго. И не подумайте там распивать, – говорит *красавица*. Серьёзная. Лет тридцати. Красивая, на самом деле. Глаза – закат, в тени стоим, их не хватает – ясно-голубые, без ржавинки. И униформа ей к лицу. Волосы рыжие – от хны, густые – под беретом – едва тот их сдерживает.

– Вот распивать-то, жалко, нечего... Не будем, – уверяет её Дима.

– Пошевелитесь там, – говорит проводница.

– Успеем, – говорит Дима. – А не успеем, с тобой до Гачинска прокатимся.

– Ага!

– Или его проводим до Исленьска.

– Тогда я вызову милицию.

– Не надо.

Дима смеётся, проводница улыбается.

Поднялись мы по очереди в тамбур. Прошли гуськом по проходу – Дима первым, я последним, – нашли моё купе. Открыта дверь. Втроём втесняемся – *пошевелинуться* негде.

Сидит в купе, за столиком, мужик. Руки на столе, пальцами в замок стиснуты. С бородой. Нос крупный, кирпичом будто натёрт – это, уж точно, от заката. Ничего больше в мужике не замечаю – не до него мне пока – мельком лишь по нему глазами пробежался.

– Во, попутчик, – говорит Дима. И говорит *попутчику*: – Здорово.

– Здравсте, – отвечает тот.

– А девка тут не заходила? – спрашивает Дима.

– Не видел, – отвечает попутчик.

– Значит, не заходила, раз не видел, ту бы заметил... Рюкзак под лавку положи, – велит Дима Женьке. Поднял Женька полку с аккуратно застеленной на ней постелью, устроил на бок рюкзак в ящик, опустил полку на место.

– Постель поправь.

– Она не сбилась.

– Вижу... Время есть ещё, пойдём, – говорит мне Дима, животом подталкивая Женьку. – Ведь говорил – за водкой сбегать надо было.

Вышли мы в обратной последовательности из вагона. Стоим на платформе. Прощаемся. Обнялись раз, другой раз обнялись. Крепко.

Небо светлое ещё, но на земле уже смеркается – мягко-мягко обволакивает.

Луна в небе. Подточенная. Кто-то из неё как будто шпонку начал делать. Старее. Не тот, кто делает, – луна.

Вороны из тополя, совсем ещё зелёного, без желтизны, выпрыснули – как будто кто-то их оттуда жменей вышвырнул, поорали, погалдели, в небе ошметьем чёрным поболтались беспорядочно и опять в листву, как блохи в шерсть собаке, втиснулись – снова не видно их, не слышно – и о чём там только думают?

– К тётке Елене я заеду, отчитаюсь, – говорит Дима, натирая ухо мне своей щетиной – за день, успела, отросла, *как у абрека*, благо, светлая, не видно. – Буду заглядывать – Ялань-то проезжаю. Не унывай... Сегодня – нет уже – назад, домой, скорей всего, поеду поздно, ночью – кое-какое дельце тут наклюнулось... не смейся... а завтра утром – обязательно... в город мне надо будет... совещание.

– Хорошо бы, – говорю.

– Пообещал ей мешок комбикорму, – говорит Дима. – Тогда ещё, на той неделе. Вот прямо завтра же и завезу. Нечем корову, жаловалась, подкормить... Раньше лафа была, теперь проблема с этим... Но в девяносто лет... Олег... не знаю...

– Ладно, – говорю. – Завези. А деньги?..

– Какие деньги?!

– За комбикорм.

– Да перестань... Жаль, – говорит Дима. – Будет не хватать. Сильно. Когда и мимо еду, без заезда, знаю – тут ты – как-то спокойно... Полсердца будто отрывается... Ну. Возвращайся. Будем ждать.

– Ладно.

– Ладно... Деньги отдашь, когда разбогатеешь.

Объявили отправление – далеко разнеслось.

Опять из тополя вороны выпорхнули – как будто выдавил их кто-то – сок так из стиснутого фрукта вылетает – брызгами, сок необычный только – чёрный. Прочь теперь сразу улетели, около не болтались. Расселись вразнобой по полувагонам, гружённым лесом – лиственницей и сосной. Помалкивают – как мишени. Смотреть будут, как поезд мой поедет, – расписание знают. И я про них догадываюсь: *уилые* – не просто так там притихли – что-то затеяли.

– Всё, – говорит проводница. – Хватит вам уже прощ-шац-ца. Счас будет трогац-ца.

Обнялись мы с Димой. С Женькой попрощались за руку. Ещё раз с Димой обнялись.

– Да вы ишшо мне, мужики, тут расцелуйтесь, – говорит, посмеиваясь, проводница. Говор – чалдонский. Взгляд – лукавый.

– А чё, возмём и расцелуемся... Можно с тобой, – говорит ей, отстранившись от меня, Дима. – Нас уговаривать не надо долго.

– Ага, – отвечает ему проводница. – Стою, об этом тока думаю.

– И я тоже, – говорит ей Дима.

– Ага. Конечно. Обойдётся.

– Ну, всё, – говорю.

– Давай, – говорит Дима. – Счастливого пути. До будущего лета. Возвращайся. Ждать – и мы, и Таха – будем... Соберёмся всё же, может, сходим?

– Сходим, сходим... Бог даст, сходим.

– Ну, давай, – говорит Дима. – И не грусти там.

– Куда денусь, – говорю, – стану.

Поднялся в тамбур, зашёл в вагон. Никого в коридоре. В большинстве купе двери настежь – без пассажиров. Тихо. Красная ковёр-дорожка. С рыжими поперечными на ней полосами – от заката – там, где двери-то открыты. Свет не включён – только от улицы – и того пока хватает.

Тронувшись поезд – плавно, без дёрганья. Разгоняется надрывно.

Смотрю в окно на Диму и на Женю, они с перрона – на меня, душа моя съёживается, сжимается – как поролон – тот-то бесчувственный, душе вот – больно. Скрылись из виду дядя и уец.

«Бог даст, до встречи, дорогие».

А так уж хочется, чтоб дал-то.

* * *

Постоял я в коридоре. Посмотрел в окно – тоскливо – острое у неё жало, у тоски – *аседия* – глубоко проникает.

Зашёл в купе. Сел на свою постель. Сажу.

Заря ещё всю пылает – над Яланью.

Мужик молчит. Борода у него русая, неухоженная. Словно дичка – как растёт, так и растёт. Заступом. Расчесал бы, мельком думаю. И думаю, его забота, я-то так, лишь отмечаю, пусть хоть в валенок скатается, веником-голиком ли торчит – он ей хозяин. Лицо продолговатое. Возраста моего мужик. Так, в бороде-то, лишь примерно угадаешь, а на самом деле сколько – непонятно. Но не старик – определённо. В самом прыску, сказал бы мой отец.

Смотрим – в окно оба; я – назад, откуда уезжаю, он туда – по ходу поезда.

Сидим – незнакомые – попутчики.

Позади осталось Милуково. Червяком обполз его состав наш. Протяжённое – вдоль Ислени – на многие километры. Ощетинившееся всевозможными подъёмными кранами, безразлично отеснившими людей и их жильё от всё ещё живописного берега. *Флагман Российской лесной промышленности*. Миновали по задворкам, захламлившимся *флагманскими* отходами – горами горбылей, обрезков и опилок, кое-где незатухаемо, изо дня в день, из года в год, зимой и летом, дымящимися, пуще торфяников. Тайга пошла – одно название, тайга – давно уже вырубленная, *в войну ещё – на нужды обороны, на гробы*, остатки – жалкая. Там и там торчат по горизонту высокие, облитые зарёй, словно глазурью, лесины, – как-то топор с пилой не добрались до них за это время, – несменно родину мою осматривают, пока не высохнут, не упадут ли; а я – за них душой цепляюсь малодушно – оторви меня немного, Господи, до времени, после – смогу когда – поблизь.

– До Гачинска? – спрашивает мужик. Голос у него сиплый – простуженный, наверное; кричал ли перед этим на кого-то долго; острым перцем сжёг ли горло? Бывает. Водку с уксусом когда ли перепутал? Мать ли у него, как и моя, глухая?

– До Исленьска, – отвечаю.

– А-а... А я до Гачинска. Мне ближе.

– Ближе.

– Чуть не вполтину.

Сидим. Молчим. После:

– Да как раз что вполтину... Сам-то отсюда, с Милуково? Вроде, по взгляду-то, не местный.

– Нет. С Ялани.

– Там живёшь?.. Или оттуда родом?

– Родом.

– Знаю. Бывал в Ялани... в Маковск ездил... Собаку, лайку, покупал... у старовера.

В купе темнеет.

Небо гаснет – в последний раз будто. Изумрудное. Только по горизонту – полоса оранжевая – вянет.

– Красивая деревня, – говорит мужик.

– Какая? – спрашиваю я.

– Ялань.

– Была когда-то.

– Само место... Разорили... Чё, может, выпьем? – говорит мужик.

В окно он уже не смотрит – смотрит на меня.

– Да нет, наверное, – говорю. – Спать буду.

– Ещё ж не ночь... Я сына своего родного только что убил, – говорит мужик.

«Ну, ё-мое», – думаю.

Полез мужик под столик, порылся в сумке, вытаскивает оттуда литровую бутылку водки, ставит её на столик. «Сибирская».

«Ну, ё-мое», – думаю.

– Может, и не убил, – говорит мужик. – Убил-то – вряд ли...

Полез опять под столик, достал из сумки два пластмассовых стаканчика – будто на собеседника рассчитывал, меня предвидел, банку солёных огурцов, домашних, пакет с жёлтыми и чёрными свежими помидорами, кусок сала с *прожилкой*, буханку ржаного хлеба, разместил всё это на столике и говорит:

– Другого нету... Всё свое тут, кроме хлеба... Соли не взял, забыл... для помидоров-то... но остальное всё солёное.

Вынул из кармана брюк складник, раскрыл его, о рукав пиджака лезвие с двух сторон, наскоро его поправил будто, вытер. Настроенный. Не нож, конечно, а – мужик.

– Чистый, – говорит, – ничё такого им не резал вроде... поганого-то... давно валяется в кармане, – и говорит: – Но по башке его нормально тюкнул... сына. Чё в руке – не знаю как и – оказалось, тем и... это... приголубил... Выдержгой, – в глаза мне прямо смотрит, неотступно – как в объектив прицела или фотоаппарата – будто снимается для документа, ими, глазами, не мельтешит – чтобы не смазались на снимке. Светлые – голубые, может, или – серые. – Ну чё, дак это?..

– Ну давай, – говорю. – Только немного, – и я такой какой-то – подчиняюсь.

– А чё тут, литра, разве много?

«Ну», – думаю.

– Да ладно, – говорит мужик. *Порушил* хлеб – крупно, по-деревенски, *ломтями*; на одном из ломтей порезал тонко сало – то не успело ещё разморозиться, размякнуть. – А огурцы из банки прямо... рукой, наверно, вилок-то раз нету. – Свинтил с хрустом с бутылки крышку, разлил по стаканам, бутылку поставил. И говорит: – Ну чё, дак это... Раз тут вместе. За всё хорошее, как говорят. Ну не за встречу же – не расставались... хотя и встретились – за встречу.

Чокнулись. Выпили. Закусываем. С водкой лихо он, попутчик мой, управился: одним глотком, выдохнув прежде резко из себя весь воздух, запрокинув голову, выпатив вперёд бороду и локоток отставив по-гусарски, мизинец отпружинив, – как будто ртуть, свинец расплавленный ли в себя влил, а жуёт, вижу, вяло, неохотно. И я тоже – не оголодал.

Молчим.

Огурцы острые – попробовал я, – свежепросольные.

– Вкусные, – говорю. – Ядрёные.

– Нормальные... Последние сорвал вот, перед заморозками... С пупырышками. Эти уж специально – на закуску... исключительно. Зиму, посмотрим, как продержатся, задрябнут, может... Соли-то путней не найти... теперь ведь химия сплошная, – говорит мужик. И говорит: – Достал.

– Что? – спрашиваю. – Соль?

– Достал... Как клоп.

– Достал?

– Да сын... Володька.

– У-у.

– Ну, по второму, – говорит мужик. – Чтобы про первый не забыть.

– Да нет, наверное, не буду, – говорю.

Выпили по *второму*. Закусываем. После:

– Тащит всё... Тащил ли уж... Оттаскался... Не знаю. Вряд ли – не со всей же силы, не с размаху... Тюкнул легонечко, конечно, ну дак... Стемнело быстро... за окном-то, – на окно метнул глазами. Занавеску пальцами пощупал. И опять на меня смотрит – как из прицела потерять меня боится будто. И говорит: – Ну, всё подряд. Кому понравится... Как россомаха – та хоть к себе, а он – из дома... Серёжки золотые, ладненькие, с меленьким камушком, жучки такие, наподобие, у матери... не у моей, конечно, у своей... моей-то бабы... были – продал кому-то, так и не нашли. Найди там. Скупщик какой – тот разве скажет. У них там свой – какой-то проходимец – и не прижмут и не посадят – как будто так оно и надо... а-а, заодно они, наверное... менты-то с ими... И менты – жулики, многих-то смолоду я знаю, и эти – одна холера... От кого-то ей, серёжки-то, достались, может – от бабушки еёной... Всё и не вспомнишь и не перечислишь – много чего перетаскал... Бельё постельное. Посуду. Книги... Морис Дрюён. Ещё какие-то, забыл уж... Джэк этот... Лондон... Всё про Север-то... Когда талоны были, покупали, – взял со стола складник, сомкнул и положил его на место. – Так не успел, не все и прочитал... В тайгу с собой брал, на охоту... Чё загнать где только можно, он-то в курсе, то и тащит... Про деньги уж не поминаю – не держим дома, спрятать негде – все закуточки-щели уже вынюхал... когда какие заведутся. С деньгами-то теперь не шибко просто, раньше пошёл и заработал... Чтобы на эту-то... ему... на дозу. А я за лето тракторишко себе сделал... Пусть худо-бедно, как-то пробиваться... Ты не геолог?

– Я?... Геолог.

– Ну, сразу видно – с бородой-то.

– И ты?... Ты тоже с бородой.

– Да я-то так... ленивый... бриться хлопотно. И где-когда там, в зимовье-то, для кого... Привык уже, и вроде не мешает, – взял со стола и снова разомкнул складник, нарезал им помидоры на четвертинки, положил его на место. – Чудные – чёрные, и кто такие вывел... Зато теплее с ней зимой – и шарф не надо... с бородой-то... Ешь... Соли нет, так с огурцом вон... или с салом... можно. Намучился, конечно... с тракторишком... собрал из разного – железа-то везде, старья... сначала побросали, теперь опомнились... успел. Весной огородишко вспахать, и где чё подвезти – без техники-то худо. Дизель... Это – давай за тех, кого уже нет с нами... третий.

Выпили мы, не чокаясь. И говорит мужик:

– Господи, помяни... Всех тех, которых Ты прибрал... на море и на суше... Третий – положено... Ещё со службы... Почти готов... где болт, где гайку – мелочи остались... А пускачишко кое-как надыбал... сейчас же это... выменял у одного – работал с ним на механическом – на самодельную тушонку. Своя. Сам – из лосятины, весной ещё – закатывал. Ну, положил его, пускач-то, в гараже на полку. Радуюсь: для кого дефицит – а у меня имеется он, приобрёл. Сегодня, дескать, уж устал, а завтра, сам себе думаю, пристрою. Резьбу нарезать... Вечером – выходил в ларёк за пивом, а после – глянул: нет!.. хватился чё-то... Ты не куришь?

– Нет.

– А я курю... Никак не отучиться.

– Кури.

– ...но потерплю... В лесу, в избушке, курево закончится, дак долго дюжу – траву жухлую, солому из матраса или крапиву прошлогоднюю – возле ручьёв, в логах, её полно, всю зиму высится над снегом, где его меньше, – не заворачиваю... Не займу пока уж у кого-нибудь, когда и так – до возвращения. Нормально. Не помираю... без табаку. Я – паперёсы. «Беломор». Когда уж нет, и – сигареты. От этих – кашиль... забиват, нутро всё наизнанку вывернет. Пришёл домой. Ничё, спокойный. Истопил баню. Помылся. Не парился. Сижу. В чистой рубахе – в этой, на мне-то вот... под бородой, поди, не видно... Причесался. Смирный. Включил – по телевизору чё-то... болтают... эти... пупы у девок... голые. Сплошная пакость. Баба на работе – нянечкой в детсаде... И он заходит – сын-то, Вовка – глаза... как этот... наркоман-то. Раньше не понимал, теперь сразу вижу: обдолбанный – обдолбанный и есть – как придурок. Так чё-то взмыло – и от себя не ожидал... не за пускач, не за серёжки... как накатило, взял и тюкнул... Придёт нормальный, думал, и поговорю... Может, и так вот, сядем, дескать, бутылочку разопьём, потолкуем... Выдерга, под рукой, в углу стояла – провод стальной вчера как раз на ней расплющивал... Упал на пол, лежит... так это... скорчился... Я походил... чё из продуктишков – из холодильника... вот эти-то... в гараж к себе – там деньги... в стареньком глушителе... взял их, за водкой в магазин сходил, и на вокзал вот... Надоело. Да не убил его, конечно. Отлежится... Крови-то не было, смотрел, и не пробил... да и потрогал... тут-то... знаю... бьётся... сердце послушал – то колотится. Оглушил. Очухается.

«Вот», – думаю.

Лампочку включил мужик – загорела, но как не сразу.

– Когда один, ничё ещё, – говорит, – а когда с кем-то – не люблю потёмки... чё-то... да и глядеть-то утомительно.

Сидим. Глаза у него, у мужика, точно – серые. Нос – *на семерых рос, а одному достался* – внушительный. Лицо узкое – со стороны ушей как будто сдавленное, голову сунул куда, и чем-то стиснуло как будто, мало ли. А выражение такое – беззаботное.

– С дочкой нормально всё, а этот почему-то... Она такая, – говорит, – шибко уж нравится... И учится – почти одни пятёрки. И всё время: папа, папа, – ластится... Ну, думаю... Они – девчонки... В их родовой, похожа на неё, с нашей-то стороны всё больше буки... В седьмом уж классе. Этот – выродок. Родной был дядя у меня – тот только спился... тогда же этого не знали – вены себе никто не портил, не дырявил... Совсем дошли уж... докатились. Здоровье было, дал Бог – дак а зачем оно? – лишусь. Сам, без принуждения. Ну, надо это... Лучше уж выпей, чем эту гадость-то втыкать.

Сижу я. Слева от меня – окно с раздвинутыми занавесками – не закрываем. За ним – темно, на тёмном – отражение. И – *мушка*... А справа – дверь – и тоже – *мушка*... Зеркало на двери, и в зеркале двоится...

«Вот», – думаю.

Поезд бежит, стучит колёсами – размеренно – не убаюкал бы до времени.

Эх, думаю, человек передо мной открывается, говорит правду, только правду, не сомневаюсь в этом, чувствую. Такое не придумаешь. Да и придумывать зачем? А почему же я, *как сивый мерин*, вру всегда налево и направо – но не всегда, конечно, – когда в поезде, своим попутчикам, с кем разговаривать приходится, и за примером далеко ходить не надо – вот я... Совестно?... Совестно... *Вдова*, однако, *докучает*... Как ещё бессовестно. И всё же вру: геолог, дескать. И успокаиваю сам себя: ну а к чему ему моя, мол, правда? И кто-то так, извне как будто, посторонний, добавил к этому, не очень, может, кстати: *Вся правда наша, яко порт жены блудницы*, – но тем не менее я успокоился. Теперь и выпить ещё можно. А где ж твоё

духовное достоинство – когда *да – да, нет – нет, а всё, что сверху, от лукавого?..* Помилуй, Боже.

– Ещё?

– Давай.

– То затянули... очередь пропустим. А я его, – говорит мужик. В окно при этом не косится. И на зеркало не оглядывается. На меня смотрит – пристально – как будто начал узнавать во мне когда-то навредившего ему изрядно человека. Хоть и *маленько* я, но оторопь меня коснулась. Глаза – как шильями, меня прокалывать ими начал – хоть отбивайся. «Ну, – думаю, – и угораздило: пустых купе столько, так нет – в одно с ним... И продают же так билеты, нет чтоб – возможность есть – для каждого отдельное, всех надо скучить». Взъерошил он, мужик, *пятернёй* волосы себе на голове, бороду не трогает, лицо его от этого ещё длиннее будто сделалось, вижу его через бутылку с водкой будто. – А я его, Володьку-то, ребёнком был ещё он, напугал. Не нарочно, по глупости, – продолжает говорить мужик и компостировать меня глазами. – Тот, ночью поднялся, в туалет направился посикать, назад, в спальню свою, идёт, полусонный... луна, Наташки не было ещё – не родилась... а я возьми да и скажи... а баба спит – не очурала... с кровати ему громко: дескать, Володька! – чтобы за коврик не запнулся... Так с тех пор и заикается. Заика... В армию не пошёл... там чё-то с печенью ещё вдобавок... Связался со шпаной, занаркоманил. И вот никак с ним, никаким макаром... и так, и этак я, а толку... не уладить. И на охоту брал с собой. Сходит – нормально, а потом... Ох, неприятно... А? Может, мы это... слышишь... по чуть-чуть?

Молчу я – как задумался, отвлёкся – и немудрено. К окну отвернулся. Как будто в темноту – на мужика, на отражённого, смотрю и думаю:

«Выбей ему глаз, и он на Одина германского станет похож... Один в один. Ещё и ворон залетит сюда, на голове его усядется, сообщит ему что-нибудь недоброе – рассердит. Ну, – думаю, – и подвезло... Пусть бы уж та... как контрабас-то... Другая там была поинтересней... Штанишки нравятся... Ну, Дима. У всех мордашки разглядел, хоть и, как я, же был – *маленько*».

Плетётся *наш* поезд, шатаясь, как пьяненький, вразвалочку – будто бы никуда ему прибить ко времени не надо, и никого спешащего он будто не везёт – не поторопится – как на прогулке. Не очень-то о нём теперь и вспоминаю, правда. Стоял, стоял среди сплошного мрака, только что, как телёнок, погудев протяжно, кому и сам, поди, не знает, тронул – о нём и вспомнил-то поэтому.

Звёзд не видно, ни единой – где-то какая-то уж непременно бы да обозначилась – над тёмным ельником, над пихтачом, среди берёз ли, сейчас уже неразличимых: звёзды ж – как спицы – лёгкий-то морок, улучив момент, и просквозили бы – как пряжу. С северо-запада небо, значит, плотно затянуло тучами – нас нагоняют – непроглядно. Проспорил Диме бы – *как пить дать*. Не видно и луны. В Ялани редко где сейчас, кое-как, изо всех сил, и до рассвета будут так стараться, отесняя и уплотняя окружающую теменоту, под эмалевыми тенниками, сквозь клубы налетевших на их сияние и теплоту незнающих ночного сна мошки, мокреца и мотыльков, блистают со столбов электрические лампочки... И в окнах тоже... И в том, в *хорошине*, на взлобке... Я бы и спорить с ним не стал – испортится, конечно.

– А тут с женой ещё... Не знаю, – говорит мужик. И говорит: – Ты... вроде дремлешь?

– Чё-то... сомлел... чуть приморило.

– Выспаться хочешь? Завтра на работу? – спрашивает мужик. – А то я... чё-то.

– Нет, – отвечаю. – Мне не на работу.

– Тогда не спи, ещё успеешь... Я зиму-то, хожу, охотюсь. Вишь – борода-то – не геолог...

Участок у меня, – говорит мужик. – На кряже. За Исленью. Там не бывал?

– Нет, не бывал.

– Красиво... Как в октябре зашёл, к марту-к апрелю только выбираюсь... Здорово, хорошо – и лето жил бы – никого там, туда пока не добрались... Ну и... Немного, может... это?..

Немного мы. И закусили – хлебом занюхали, точнее. Я уж не просто, а совсем уже *маленько*.

– Вернулся как-то раньше времени, – говорит мужик. – Так получилось. Дольше обычно там задерживался – до оттепелей, пока снег не станет просядать, не заноздрится, а то на лыжах-то – и камус обдерёшь, и не пролезешь... Утром, на восходе, по путику, по насту, без лыж, конечно, пробежался, капканы все, успел, собрал, спустил ловушки, петли снял. В избушке скоренько прибрался. Не от мышей – мыши там есть, в округе-то полно – их сенокосовка не пускает – сама в избушке поселилась, а так, зайдёт кто, мало ли, переночует – кому понравится, как беспорядок... К себе – пока ещё добрался, ладно, ребята, лёгчики, от Елисейска довели, двое живут тут, в Милуково, – домой-то захожу, а там – сосед... Ничё, конечно-может, не было... Не знаю. Ночью. Мужик-то он, Виталька, неплохой, но всё равно – на сердце как осадок... И как-то так – а чё так испугалась?.. Если нормально-то – так и нормально... И он, Виталька, как смутился... А вертолёт – когда другой уж?.. через месяц. И прилетел – но не нарочно, так получилось, побыл бы дольше – и продукты оставались – недели две ещё прожил бы... Бутылка, вижу, на столе, почти пустая, и два стакана... Белое... Чё-то – какая-то – закуска... Нет, говорит, потом. И плачет. А он, Виталька, нравился ей – знаю. Да мне-то... За столько месяцев – отвык... Люди, бывает, что соскучатся... Да я и спрашивать не стал бы... Зашёл сосед, ну и зашёл, ну, посидел, ну, выпили... но – ночью... Я к чужой бабе среди ночи не попёрся бы... если какая-то понадобится помощь ей, тогда – конечно... ну дак и это... вобшэм, сплошная несуразица.

Поезд стучит колёсами на стыках – о важном или о пустом – о том, об этом ли – однообразно. Прислушиваюсь – позвоночником – не понимаю; не о живом речь, о железном – догадываюсь. И мужика слушаю – ушами. Чем-то ещё. Не знаю. Может – водкой – через неё будто доходит – глухо. При голове мой непоседливый затылок, нет ли, не чувствую, и не могу рукой проверить – где голова, а где рука – не совместить, не дотянуться – так кажется, и не пытаюсь. Глаза слипаются, но раздираю их. И слышу:

– А у меня внутри перевернулось будто чё, – говорит мужик. – Хоть застрели, на место не поставишь... Всяко уж заставлял себя – никак. Живём. В одной квартире. Всё для других, со стороны-то, вроде и нормально. Да и у нас... бузы особой вроде не бывает, как и раньше, но чё-то это... Не знаю. Как-то – смутно. Много можно, это никак в себе не вынудишь... И одноклассницу свою бывшую – зуб пошёл в больницу дёргать, чтобы зимой с ним, на охоте, не замучиться... провод сталистый загибал в зубах, понадобилось, и сломал... пошёл в больницу-то – и встретил. Десять лет жила в Исленьске, работала, потом сюда перебралась, на родину, тут теперь – в Милуково. Не замужем. Был какой-то – разбежались, по бабам вроде стал ходить – поэтому. Постояли, поговорили. В гости пригласила. Пошли. Посидели. Повспоминали. После ещё раз к ней зашёл – так уж, сам, без приглашения. Ну и всё лето... А потом: день не схожу к ней – и болею, из рук всё валится, не радует ничё... И понимаю, сильно уж прямо как-то к ней, такая тяга... Даже боялся. Никогда такого не было. Ну вот – родное. Как магнитом прямо. Спать ложусь – она на уме, встаю – о ней думаю... Скажи кому-нибудь, ответят: напасть, или – присушили... И делать у неё готов всё по хозяйству... А совесть... Не могу вот... как на двоих-то... шибко плохо. У мужика должна одна быть – жена. Когда баба гуляет, это ещё туда-сюда как-то – слабая, она и – баба... Ну а мужик когда – это... плохо. Такие – кобели-то – мне не нравятся. Их дело. Но если такой в этом, дак и в другом он ненадёжный... так чё-то думаю. Я за серьёзно их не принимаю почему-то. Оно – не жалко, а противно... И я вот... Когда там хорошо, и тут, с женой, вроде нормально... Когда там только чуть чё, нелады маленько – всё, и на жену, приду домой, покрикиваю, ну а кричать-то – хорошо ли... Не знаю.

И с ней, с женой – как про Витальку чуть подумаю, сразу и чувствую, и не люблю вроде её, жену-то, а ревную... И не ревную вроде – горько как-то... Когда так – любви нет, а ревность... нехорошо оно, и всё тут. Может, я это... деревенский, в Милюково-то не с детства... тут – с интерната... А одноклассница – начальницей теперь на почте... С образованием. Я так – туда-сюда... никуда, вобщем... и – в армию, и после шоферил, пока не сбил... пьяного... Ну а она, училась в школе хорошо, в том же году, в Исленьск поехала, и поступила... На машине, на служебной, ехали, на «каблуке»... На встречную полосу крутой на джипе вырулил... их теперь сколько вон... как тараканов... Шофёр её... на «каблуке»... в сторону резко дал, и зацепил справа столб – бетонную опору. Ему ничё, шофёру-то, ушибами отделался... морду разбил себе да палец на руке сломал. А она... вот... неподвижна... ноги отказали. Всё как-то и разобралось... конечно, худо... А не брошу. Пока вот к матери поехал... под Гачинском, в деревне. Поживу у ней сколько-то, одумаюсь... Неделю, может, полторы – не дольше. Подружка с ней пока поводится... её, подружкина, подружка... дак чё – лежит – уход ей нужен... Не брошу... как-то не могу. А хоть и сяду... за Володьку, выйду – и к ней. Как без неё теперь – не знаю. Да нет, ну чё тут рассуждать... Ясно: не мы жизнью руководим, она нами.

Судьбы Божий – бездна многа, – через меня опять – по ходу поезда – как просквозило. И не успело это отзвучать, как следом: *Клеть душевная – неизмеримой глубины.*

«Ну», – думаю.

Выпили мы. Посидели молча. После:

– А жена-то... С армии пришёл. Чё-то – туда-сюда – и забеременела, я и женился. Как бы по долгу... Армия – долг, женитьба – тоже... Такого не было – чтоб сильно... Молодой был, глупый. Не стал сейчас бы, без любви-то... Смешно, наверное, смеёшься?... Я деревенский, ты не смейся... Ну дак и ты-то – из Ялани... Ну... и что дом-то мой, не чувствую. И делать в нём ничё не хочется. Так, через силу – как обязан, и без души. Эта... пусть и бездвижная теперь, но... прикипело... оно ведь так-то не проходит, и ведь она не виновата – так получилось... ну, что лежит-то... ну, или Бог там... я не знаю, – говорит мужик. И говорит: – Брат у меня... с женой своей... живут лад в лад. Смотрю на них – вот это правильно... но редко... Одна жена должна быть, одна женщина... у человека... Не знаю. Кажется. А мусульмане... дак они... у них и Бог иной – Аллах... А всё другое – баловство. Тётка у меня... по матери, с той стороны. До войны ещё с одним ходила, тогда – дружили. Он и она с одной деревни... у нас там, куда еду... рядом... Дозорной называлась. Тот – на фронт, она – туда же, ну и как-то потерялись – не в магазине – не саукаешься... Война, и в мирное-то время... И она замуж не выходила после, и он, потом как оказалось, не женился. Не почему-то там, а – ждали, забыть друг дружку не могли... Хоть и... ну, я не знаю... как-то получилось. Не своевольничали – время-то такое... Тут уж случайно как-то встретились. В Братске – и как их там свело?... Она к сестре своей поехала, а он туда – в командировку. Идут по улице – и увидались... Чё-то из них кому-то с сердцем плохо даже стало... Ну и ничё, живут теперь вот... вместе. Случайно, Бог ли, я не знаю. Дозорной нет – давно уже распалась – был как-то там – одна крапива... Живы оба ещё, слава Богу. Где-то там, под Ленинградом. Тётка и жить к нему уехала. А ты чё... ищите-то золото?... Геолог.

– Что попадётся, – говорю – ложь свою двою, утверждаю – как против шерсти, совесть свою, *вдову докучливую*, глажу – терпит. И вру-то всё на один лад: да, мол, геолог. И зарекаюсь: последний раз, дескать, больше не стану, как воды в рот наберу. А как в поезд только сел, так и... поехало, под стук колёс – как под аккомпанемент – и хоть бы сбился.

– Интересно, – говорит мужик. – Надо сходить тебе на мой участок. Обязательно. На вертолёте только – далеко... Дороги нет туда пока, и слава Богу. Лес возить оттуда станут – сделают... Там по ручьям и речкам золотишко есть, это уж точно... Может, ещё чё, подороже... Переброжу когда, гляжу, как чё-то вроде и поблескиват. Мне-то оно – да и лежи там... А я до этого лесничил. Ну а теперь такое тут творится – пустыня будет... Ушёл из лесников, – говорит

мужик, рукой махнул – воздух около себя пополам разрезал – не стенки бы, так развалился бы он, спёртый в купе воздух. – Сердце когда-нибудь не выдержит – инфаркт ещё, пойдёшь по лесу-то, где хватит. Теперь я так – самостоятельный... раньше-то как – единоличник.

Сказал мужик и будто растворился.

А после этого провал. Будто и меня, грешным делом, ни с того и ни с сего, по голове выдергой *приголубили* – как-то уж разом.

Так, полусидя, и проснулся.

Свет в купе неоновый – с улицы. Как в мертвяцкой. Пахнет... одеколоном – вспомнил, но не сразу, и каким – не различаю, может – «Тройным», может – «Гвоздикой». На столике порядок. Всё убрано, сам столик вытерт. Мужик готов уже, вижу, выходить; на плече спортивная сумка. Возле двери топчется – спиной к ней, к зеркалу, лицом – к оконцу, нос у него теперь – от света – синий. На меня глянул и говорит:

– Проснулся... Гачинск... Выхожу. Поезд стоит тут минут сорок... если ничё не помешали. Мне на автобус... через час. Ну ладно... это...

Дверь открыл, из купе вышел, повернулся и говорит:

– Если тут чё, так извини...

– Да ничего, – говорю, еле произнёс: язык – будто свой потерял, чужим временно пользуюсь.

– А как тебя зовут? – спрашивает.

– Олег, – отвечаю. Не соврал.

– Меня – Василий. Ну, счастливо.

– Угу.

Захлопнул дверь. Ушёл мужик.

Открыл дверь снова. Смотрит на меня. Смотрит. И говорит:

– Я... это... помню... разговор-то... Баба ведь как... Бог может войти в каждую... но это... не каждая удержит... Поэтому. Да ладно. Ну, я сказал уже: счастливо.

Ушёл мужик. *Окончательно.*

Я остался – ехать ещё часа четыре – помню.

Чувствую голову свою – по ней как будто кони с этикетки от «Сибирской» скачут – затылок полый – нет бы вон – как по манежу, разгулялись.

Повалился на постель, как был – не раздеваясь; разулся только.

Скоро, не скоро ли, под непрерывный стук... *копыт*, забылся.

* * *

Среди крошечной немоты или тотального отсутствия, гудящего так, словно в его центре поставлен многомогущий силовой и плохо закреплённый трансформатор, или оно, отсутствие, расположилось рядом с высоковольтной линией электропередач, сплошь, как сетью, ими, линиями, ли опутано, среди небытия – сказать и так, пожалуй, можно – слышу вдруг, как будто только что родился, не понимая и не разбирая слов, помимо белов или децибелов, озлобленно и без передышки раздалбывающих изнутри мой хрупкий череп, голос человеческий, женский и, как мне кажется, знакомый – чувствую, что знакомый, но не думаю об этом, – издалека будто, как из еле-еле различимой точки, как от вечности ко времени ли – словно искал он, голос этот, меня по привычке прежде там, на моей узкой, деревянной кровати, на уютном и обжитом чердаке моём, в Ялани, долго зывал ко мне оттуда, тщетно кликал, после уж тут меня, случайно или по подсказке чьей-то, нашёл, ко мне приблизился и обратился – услышал я его, и до меня дошёл смысл этим голосом произносимого:

– И скока вас ишшо будить?! Долго?.. Вот наказание мне прямое... Хожу, как эта... Я вам не нянька, не обязана... Э-э... Вы живой?.. Вон по Исленьску уже едем. Подымайтесь давайте.

Последний раз, пришла, предупреждаю. Чириз минуту остановимся. Почти приехали... А то водой вас окачу – добьётесь... И каких тут тока не увидишь: в дорогу ехать – и упиться... Милицанера позову – быстро разбудит. Тогда в кутузке отоспитесь... Э-э... вы... И вправду ли не помер?

Где я, кто я, не понимаю. Я – как тело – и сознание моё – с ним мы пока ещё отдельно – крепко, похоже, раздружили. Есть я, присутствую, но где, мне не известно; по каким палестинам оно, сознание моё, шляется – не знаю. Затылка нет. Темя тут, трещит от боли, а его, затылок свой, не ощущаю – не вернулся ли он в Милуково, не уехал ли он с Димой, чтобы там, в Ялани, при проезде, выпрыгнуть незаметно из гремящего *уазика*? – станет с него – так озорует... Без затылка неуютно – как зимой, с открытой настежь в доме дверью. В зияющий и никем не охраняемый образовавшийся прогал не только сознание, и жизнь из меня может запросто выскочить, тогда и вовсе не проснёшься – *скоропостижно* не хочется. Душа с великим нежеланием, будто по принуждению, из глубины хмельного сна, через него ли продираясь, с какой-то дальней будто, приглянувшейся ей стороны, в тело, как в терем опостылый, возвращается. Душе, ему ли, телу, хуже? – пока на это не ответить мне.

В моём бреду одна меня томит каких-то острых линий бесконечность, и непрерывно колокол звенит, как бой часов отзванивал бы вечность. Мне кажется, что после смерти так...

«Должно быть, в поезде – вчера ещё в него садился... Если сегодня это, а уже не завтра, а со вчерашнего – не послезавтра?... Да и стучит: так-так, тык-тык, во мне, простёртом, отзываясь», – первая мысль, с которой я очнулся, – из ничего как будто просочилась и заструилась родничком.

И точно: в поезде – опомнился – будто из бездны Аввадон или из океанской пучины, правило декомпрессии нарушив, вынырнул – необходим теперь мне шлюз лечебный, то речь расстроится, рассудок помрачится, и паралич, к тому же, ещё хватит... Не поздно ли?... Болезнь в разгаре.

Раздираю с трудом веки – кое-как, заторопившись, с ними справился, так испугался – за время сна, провала полного, они как клеем кем-то были будто склеены, словно не разомкнулись сами по себе, а принуждённо лопнули, как на разваренной, *рассыпчатой*,

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.